НАДЕЖДА
ЧЕРТОВА

САРГАССОВО МОРЕ

СП

НАДЕЖДА ЧЕРТОВА

САРГАССОВО МОРЕ

ПОВЕСТЬ



Советский писатель
Москва 1965

Р 2
Ч 50

Повести Надежды Чертовой «Утренний свет», «Клавдия», «Девушка в шинели», романы «Разрыв-трава», «Шумят ливни», «Пролегли в степи дороги» давно известны читателям,— они издавались не только в Советском Союзе, но и за рубежом: во Франции, в Чехословакии, в Болгарии.

«Саргассово море» — новая книга писательницы — рассказывает о нелегкой жизни работницы Катерины Лавровой, чью душу попытались уловить в свои искусно сплетенные сети «утешители» из баптистской общины. В борьбу с баптистскими наставниками вступает секретарь парткома завода, на котором работает Лаврова. Эта сложная борьба проникновенно описана в повести.

1

Вканун 8 марта, отмечавшегося в 1960 году с особой торжественностью — празднику исполнилось ровно полвека,— в клепальном цехе московского завода стало известно, что среди награжденных орденами и медалями названа клепальщица Екатерина Степановна Лаврова.

В обеденный перерыв профсоюзный цехком провел у клепальщиков коротенький митинг. И тут Катерина Лаврова, высокая, сильная, еще красивая женщина, удивила всех до крайности: услышав, что правительство наградило ее орденом «Знак Почета», она вдруг побелела и низко опустила голову. Так, с опущенной и словно повинной головой, Катерина прослушала поздравительную речь председателя цехкома Аполлинарии Ивановны Ядринцевой, вяло ответила на рукопожатие и приметно вздрогнула, когда услышала дружные аплодисменты.

От нее ждали ответа, но она молчала. Образовалась неловкая пауза, работницы зашептались. Ядринцева, старая, опытная профсоюзница, заметно потерялась и все поглядывала в широкий пролет цеха — не появится ли секретарь заводского парткома Пахомов: обещал ведь зайти... Но Пахомова нигде не было видно, люди недоуменно ждали, Лаврова продолжала стоять, как ответчик на суде, и Ядринцева решилась,— она сказала своим громким, немного металлическим голосом то самое, что еще оставалось сказать:

— А завтра вас, Катерина Степановна, в Кремль приглашают для вручения ордена.

Вот тогда-то и произошло чрезвычайное происшествие, ЧП, как определила председательша. Лаврова,

подняв наконец голову, взглянула на Аполлинарию горящими, отчаянными глазами и ответила одним словом:

— Нет.

Это тихое «нет» раздалось по всему цеху. И все-таки Ядринцевой почудилось, что она ослышалась.

— Что вы сказали? — переспросила она.

Лаврова открыла рот для того, наверное, чтобы повторить свое «нет», но ее перебила здоровенная, толстогубая Степанида Клочкова.

— Больная она нынче,— громко и торопливо сказала она.

— Я больная,— повторила, как эхо, Катерина и прибавила коснеющим языком: — Пойду я... разрешите... домой...

На мгновение Аполлинарии показалось, что она оглохла,—ей еще не случалось попадать в такую странную ситуацию! Только подумать: единственная на весь огромный коллектив награжденная не только не обрадована, не благодарна, не растрогана, а как раз наоборот — напугана, что ли... И отказывается, да, отказывается идти в Кремль! Право, кто-то из них двоих помутился разумом, Лаврова или же сама Аполлинария.

Но хуже всего то, что выдвинула Лаврову в список представляемых к награде сама Ядринцева по собственной инициативе! Мысль об этом, словно молния, поразила председательшу еще в тот момент, когда Лаврова «испугалась» своего ордена...

Решительно не зная, что же следует предпринять, Ядринцева стояла, покусывая тонкие губы, и слушала, что люди говорят.

В цехе поднялся сдержанный шум. Молоденькие работницы пересмеивались — эти всегда найдут предлог

посмеяться; женщины же, что были постарше и, значит, подольше стояли в цехе рядом с Катериной, озадаченно поглядывали на бледную растерянную подругу. Они, кажется, ей сочувствовали. Больная, чего с нее спросишь, пусть домой идет. И не пойдет, а поедет: она за городом живет, надо, значит, на машине отправить. Для почетного человека не грех и машину с начальства стребовать.

Услышав разговор о машине, Катерина даже руками замахала.

— Нет-нет! — сипло сказала она.— Я далеко живу. Машины туда не ходят. Нет, нет, на поезде я...

Она глянула из-под тонких сросшихся бровей на женщин, плотно ее окруживших, губы у нее зашевелились — она, может, и сказала бы о чем-то трудном, но губастая Степанида, ее напарница, решительно взяла Катерину за руку:

— Пойдем уж, чего там, вовсе больная!

Тут как раз кончился обеденный перерыв. Обе клепальщицы, провожаемые десятками взглядов, медленно вышли из цеха. Аполлинарии ничего не оставалось, как последовать за ними. Когда все трое миновали последний пролет цеха и ступили во двор, Ядринцева вдруг услышала сдержанный шепот Клочковой:

— Что теперь делать будешь?

Катерина промолчала, а Ядринцева остановилась на месте, окончательно онемевшая. Потом, высоко подняв плечи, словно во внезапном ознобе, зашагала к каменному особняку заводоуправления. На носатом лице ее не осталось и следа обычного холодновато-делового выражения, оно пылало багровыми пятнами, а маленький ротик, странно не соответствовавший крупным чертам лица, был озабоченно поджат.

Так, взволнованная, рдея старческим румянцем, она и вступила в скромный кабинет секретаря заводского парткома Василия Ивановича Пахомова.

Василий Иванович говорил с кем-то по телефону, он молча кивнул Ядринцевой и глазами показал на стул: садись и обожди.

Аполлинария присела на кончик скрипучего стула с такой осторожностью, словно он мог под ней подломиться, и принялась нетерпеливо наблюдать, как Пахомов рассеянно вычерчивает на чистой странице блокнота какие-то закорючки и треугольники, то и дело повертывая карандаш в тонких, как бы прозрачных пальцах. Болезненная прозрачность была приметна и в его широковатом спокойном сероглазом лице. Ядринцева знала, что Пахомов, военный летчик, был в конце войны тяжело ранен и чудом выжил, лишившись восьми ребер...

— Надо разобраться,— коротко заключил Пахомов разговор по телефону.

Он положил трубку и карандаш, показывая, что готов слушать.

Раздражение и тревога председателя цехкома на первых порах его как будто не затронули. Он только заметил:

— Твоя выдвиженка.

Ядринцева нашла в себе силы молча кивнуть головой.

Пахомов снова взялся за карандаш.

— А ты знаешь Лаврову?— спросил он, принимаясь за свои треугольники.

— Ну конечно,— с легким возмущением ответила председательша: ей ли не знать старых работниц! — Стоит на клепке с тысяча девятьсот сорок второго года.

Заняла место мужа. Когда мужа убили, осталась на заводе. Выполняет норму на сто, сто десять процентов.

Пахомов подождал, что еще прибавит Ядринцева, но та следила за его карандашом и молчала.

Что ж тут говорить? Клепка — один из самых тяжелых участков на заводе, и выполнить норму здесь не так-то просто. А в 1942 году клепка шла еще вручную, секретарь парткома знает все это и без нее.

— Анкетные данные,— негромко произнес Пахомов и усмехнулся.— Я не о том спрашиваю.

— Второй муж у нее тоже фронтовик. Шофером работает,— сказала Ядринцева и прибавила не очень уверенно: — Кажется, выпивает... в цехе говорили.

— Фронтовик, выпивает... Маловато знаешь о Лавровой,— в голосе Василия Ивановича отчетливо прозвучала нотка упрека.

Аполлинария пожала плечами, правда с некоторой нерешительностью. Перед нею встало лицо Лавровой, каким оно было там, на митинге,— красивое, но до того сумрачное и замкнутое, что средце у председательши неприятно екнуло: «Кажется, влипла я с этой чертовой бабой! Кто знает... а вдруг она пьет вместе с мужем?»

— Ну что же,— проговорил Пахомов со своей непонятно-спокойной усмешкой.— Посчитаем Лаврову больной. Причина уважительная. Список награжденных большой, и вызывать в Кремль будут еще не раз. Значит, время у тебя, товарищ Ядринцева, есть.

Аполлинария вопросительно на него взглянула.

— Если Лаврова не выйдет завтра на работу, езжай к ней домой,— посоветовал или, скорее, предложил он.— Побеседовать с человеком надо.

— Хорошо,— послушно отозвалась Ядринцева.— Поеду.

— Ты помягче там,— сказал на прощанье Пахомов.

Выйдя за дверь, Ядринцева решила не ждать следующего дня, а отправиться к Лавровой немедленно.

Твердым шагом проследовала она в отдел кадров, взяла адрес Лавровой и даже домой не зашла, а, добравшись до одного из дальних столичных вокзалов, села в вагон электрички: ехать предстояло целый час!

Волнения и тревоги Аполлинарии по поводу необычного «дела» Лавровой мало-помалу сменились раздражением. Какой нелепый, какой дикий случай! Что за причина у Лавровой так «пугаться» ордена? И надо же было ей, председателю цехкома, впутаться с этой кандидатурой при составлении списка — нет бы промолчать, никто ведь не тянул за язык! Никому и в голову не пришло назвать Лаврову: подумаешь, выполняет норму, заменила мужа! Не одна она такая даже среди клепальщиц — разве только стаж у нее побольше...

Электричка то и дело останавливалась, коротко свистела и ползла дальше. Когда объявили нужную Ядринцевой остановку, вагон почти опустел. На улице встретили ее густые, сизые морозные сумерки: март нынче стоял суровый.

Узкая тропа довольно скоро привела озабоченную Аполлинарию на коротенькую улицу. Домик Лавровой стоял на отшибе, последним, и был темен. Ядринцева все-таки постучала в дощатую дверь. От стука дверь широко растворилась, и Аполлинария неуверенно ступила в чернильно-темные сени, пахнущие сырыми дровами.

Ей удалось нащупать скобу второй, обшитой дерюгой двери, но дальше порога она не двинулась: в темноте слабо синели окна, лишенные каких-либо занавесок, и где-то в углу слышался заливистый храп, кажется мужской.

Ядринцева поспешно вышла на улицу, в полном недоумении постояла у крыльца — где же, в самом деле, Лаврова? — и зашагала на огонек соседнего дома.

Оттуда она вышла через полчаса с поджатыми губами, вся в багровых пятнах. С первого же слова соседи сказали ей, что Катерина Лаврова вот уже лет десять как стала сектанткой, истовой и усердной баптисткой.

— В молельне ищите ее, теперь там она, в Москве,— не без ядовитой усмешки прибавила словоохотливая соседка.— А храпит это ее муженек: поди, в ночную смену идет или выпил.— Она подумала и прибавила:— Была у нее дочка, да поездом задавило. Давно уж это случилось. Живут, как на постоялом дворе, с мужем-то, всяк в свою сторону глядит. Это второй у нее.

Ядринцева пробормотала почти неслышно:

— Знаю.

С трудом выдержала она обратную дорогу, хотя попала в состав с сокращенными стоянками,— поезд пролетал станции, то и дело надрывно свистя. «Скорее, скорее»,— мысленно повторяла Ядринцева. Какую новость везла она на завод, в цех, к Пахомову! Уж лучше бы Лаврова и в самом деле выпивала с мужем: все-таки это куда обыкновеннее, проще. А то — сектантское изуверство... Что же, что теперь делать ей, Ядринцевой, рекомендательнице?

И постепенно она пришла к единственно возможному, как ей казалось, решению: ответить за все, сполна ответить, как положено коммунисту.

Но такой тяжкий груз невозможно было приволочь домой, в одинокую комнату, где не с кем и словом перемолвиться. Поэтому она отправилась на завод и почти бегом пробежала по двору, еще издали увидев, что окна в парткоме освещены.

Пахомов сидел один над полуисписанным и густо перечерканным листком бумаги. Он поднял голову на звук отворяемой двери, на усталом лице его изобразилось изумление: в такой час Ядринцева, аккуратная служака, никогда — если не было собраний или заседаний — не появлялась на заводе. К тому же она была непохожа на себя: носатое, немного птичье лицо ее посерело, губы пересохли и стали вовсе бесцветными, под глазами набухли вялые мешочки.

— Привезла тебе новость о Лавровой,— чуть не с порога сказала она.

— О Лавровой?

За долгий день, наполненный различными хлопотами, Василий Иванович успел забыть, кто такая Лаврова. Впрочем, сейчас же спохватился:

— А-а, это награжденная... Ты ведь хотела завтра навестить?

— Уже навестила,— почти срываясь в крик, проговорила Ядринцева.— И знаешь, кто она оказалась? Сектантка.

— Кто? — не понял Пахомов.

Ядринцева необычным для нее грубым голосом, в котором слышались злость и отчаяние, повторила:

— Баптистка крещеная, вот кто. Святоша.

— Это точно? — помолчав, спросил Василий Иванович.

— Куда точнее. Соседи сказали. Вот уже лет десять.

— Не знаешь людей, товарищ Ядринцева,— тихо заметил Василий Иванович, и Аполлинарии послышалось: «Не знаешь, а рекомендуешь».

— Можешь ставить вопрос на парткоме,— сказала она и с холодной решимостью добавила:— Отвечу, как положено коммунисту.

Скуластое лицо Пахомова дрогнуло и от висков стало заливаться розовым болезненным румянцем.

— Дело ведь не в том, что она верующая. По существу надо судить: заслуживает ордена как производственница или не заслуживает? Не о себе, товарищ Ядринцева, думать надо. Пожалуй, это и лучше, что вы не встретились.

Ядринцева сделала слабое движение протеста. Но Пахомов словно ничего не заметил.

— Святоша, говоришь? А еще что соседи рассказывают?

Аполлинария пожала плечами.

— Муж действительно у нее пьет... Дочь, говорят, была... ее поездом задавило.

— Когда? — быстро спросил Пахомов.

Ядринцева только тут сообразила, что не догадалась спросить, когда это случилось, и не очень твердо ответила:

— Уже давно.— И, подумав, прибавила более уверенным тоном:— Во всяком случае, еще до меня, я бы помнила. Ну и до тебя, конечно.

— Опять ты да я. А ты,— он подчеркнул это слово,— ты не связала гибель ребенка и сектантство Лавровой?

— Как то есть «связала»? Откуда же я...

— Ну хорошо. Баптисты, говоришь?— Пахомов крепко

потер шишковатый лоб и непонятно закончил: — Саргассово море.

— Что такое? — растерянно и даже с обидой спросила Аполлинария.

— Есть, товарищ Ядринцева, такое море: Саргассово. В Атлантике оно, у берегов Флориды. Там в сплошных водорослях — саргассах даже большим кораблям туго приходилось когда-то. Ну, скажем, во времена парусного флота.

— А-а,— протянула Ядринцева и уже окончательно разобиделась: малый она корабль, старый, раз запуталась в каких-то водорослях...

— Ну хорошо,— повторил Пахомов и решительно стукнул по столу ребром ладони.— Займусь Лавровой сам.

От него не ускользнуло, что Ядринцева вздохнула с облегчением.

— Ты помолчи пока насчет секты,— строго наказал он.— Я немного подготовлюсь и позову Лаврову к себе. А ты ступай... отдыхай. Вот тебе и сто пять процентов нормы,— прибавил он и невесело усмехнулся.

II



атерина Лаврова действительно была сектанткой, баптисткой, «сестрой во Христе».

Завод давал Катерине верный кусок хлеба, руки делали привычное дело, душою же она жила особой, отдельной от цеха и от завода жизнью, куда более богатой — так она считала,— нежели жизнь неверующего. Если смены не мешали, она ходила на каждое собрание

секты, три раза в неделю, а день без моления считала пустым и прожитым зря.

Никто не мешал Лавровой вести такую жизнь. На заводе знали, что она загородница и всегда спешит уехать «до хаты», а дома ждал ее только муж, давно уже считавший, что она отбилась от рук. Катерина же так понимала, что отбилась она от земной, мелкой суеты, ничтожной перед вечностью, которая ожидает бессмертную душу в чертогах божиих.

Неожиданное награждение не обрадовало, а скорее напугало ее.

Первой мыслью было: ошибка это, не могут, не должны ее награждать.

«Люди, зачем вы меня трогаете? — едва не закричала она.— Мои награды — там, у господа!..»

Но сквозь потрясенность, сквозь испуг она успела заметить, что работницы, окружившие ее, были рады за нее. «Ишь расшумелись... вас касается,— с неприязненным удивлением думала она, пряча глаза.— Вот узнаете... тогда чего запоете... Я же не напрашивалась...»

Она не умела обманывать, да и вера запрещала прибегать ко лжи. Когда же нельзя было сказать правды, упорно молчала. Промолчала она и на митинге. Но нестерпимо было даже подумать о том, чтобы идти в Кремль за этим ненужным, суетным награждением.

Когда Степанида простилась с ней у заводских ворот, Катерина не на вокзал заспешила, а в молитвенный дом. Только там, среди «братьев и сестер», могла как-то разрешиться ее мука...

Но, проделав длинный путь по городу и добравшись наконец до знакомого переулка, она еще издали поняла,

что опоздала: молитвенный дом — старый реформатский храм — был наглухо заперт. Она все-таки поднялась на крыльцо и постояла возле темных дверей.

Что сказали бы ей «братья и сестры»?

Наверное бы сказали: получай орден, если заработала, но ты-то ведь знаешь, где и какая награда тебя ожидает!

Но как же с совестью быть? Ведь если б т е, заводские, знали, что Катерина сектантка, никакой бы награды ей не вышло. Положим, не к чему ей всем и каждому объявлять о своей вере, положим, никто из неверующих не может считать веру преступлением. Но все-таки получается какой-то обман. Обман, в котором она виновата и не виновата...

Сейчас Катерина испытывала такую жажду утешения, что невольно ждала чуда: вдруг заскрипят, отворятся заветные двери и... Но нет, двери не отворились, и она медленно зашагала по переулку, не теряя надежды встретить кого-нибудь из «братьев и сестер».

Встретился ей один только пьяный человек, едва не сбивший ее с ног, а привычная дорога в электричке на этот раз далась с трудом и мукой. Все ее раздражало — и шум, и многолюдье, и суетные разговоры... Потом, когда шла от станции до дому, неверные ноги дважды занесли ее в какие-то ямины, где она по колено увязла в ноздреватом мартовском снегу.

Дом, как она и ожидала, встретил ее глухим молчанием. Муж Василий ушел в ночную смену. Она кое-как прибралась, вытащила из теплой печи горшок с вареным картофелем, поужинала и, торопливо раздевшись, погасила свет.

И как только легла, как только перестала двигаться в

постели, мысли с новой силой стали одолевать ее. Сказать ли мужу? Но она перестала говорить ему о себе, жила с ним вместе и — отдельно, как бы запертая на семь замков. Давным-давно так жила, с того самого дня и часа, когда погибла Еленка...

Катерина поднялась, села на постели, взгляд словно магнитом притянуло к пустому углу за печкой — там когда-то стояла деревянная кровать дочери.

Комната была слабо освещена луною, глядевшей в окно, от неверного, мерцающего света лохматые пятна вещей как бы шевелились. Только в пустом углу чернела неподвижная, бездонная темнота. Там жила Еленка. Теперь Еленке было бы двадцать два года...

Катерина всплеснула руками, закричала на весь дом и упала лицом в подушки.

И раньше с нею такое случалось: настигнет беда, малая или большая, откроется материнская рана и бьет свежая кровь. Но, кажется, никогда еще старое горе не поражало с такой силой.

Она попробовала отбиться отчаянным криком, хотела зажечь свет, но руки у нее не поднялись, не было сил. А чернота Еленкиного угла притягивала к себе, всасывала в свою бездонную глубину.

Обессиленная Катерина поддалась наконец страшному воспоминанию, оно обрушилось на нее тяжкой громадой, властно сметая с пути все остальное.

Материнская память стала рисовать в мучительных и беспощадных подробностях т о т день, сначала обычный, как все дни, потом черный и страшный.

Девочка встала перед нею живая и памятная вся, от светлых завивающихся на висках волосенок до поношенных, последних в жизни ботинок...

В то весеннее утро, до того ясное, что трудно было глядеть на снежное поле, посреди которого стоял дачный поселок, Еленка была необычайно весела. Василия, мужа Катерины и отчима Еленки, не было дома, и девочка безудержно тараторила и смеялась так, что мать даже спросила:

— Что это ты нынче больно веселая?

— А так,— ответила Еленка и опять засмеялась.

Это был последний день весенних каникул, завтра Еленка должна была идти в школу. Училась она хорошо и вот уже второй год носила на левом рукаве стиранной-перестиранной формы три красные лычки председателя пионерской дружины. О школе она и щебетала в то утро — даже когда подавала матери тяжелые ведра с картошкой, которую они спускали в подвал.

Мать кричала Еленке из подпола, чтобы тяжело не накладывала, но девочка не слушалась и тащила из сеней по полному ведру, перегибаясь, словно былинка.

Такою и запомнила мать Еленку в последний час ее жизни — тоненькой, гибко перегнувшейся в талии, смеющейся. Было Еленке двенадцать лет, и что-то в ней начинало проглядывать девичье...

Когда они кончили возиться с картошкой, девочка заспешила на станцию — ей, сказала она, непременно надо было купить две тетрадки по арифметике и «стерку», то есть резинку. «Купи мыла кусок»,— наказала мать, и это были последние слова, сказанные ею дочери.

А меньше чем через час в дом вбежала сухенькая вдовушка с соседней улицы. Трясясь с головы до ног, она сунула Катерине знакомую и почему-то продранную авоську, кусок мыла, вываляннный в песке, и смятую

тетрадку. На обложке тетрадки Катерина увидела косую, из крупных, разлившихся капель, струю крови.

— Кто? — спросила она хриплым, не своим голосом, думая, что девочку избили иль, может, убили.

— Никто, никто,— замахала на нее руками соседка.— Поездом ее, ступенькой... Вместе шли, пережидали, когда товарный пройдет. Тут как раз поворот. Я и загляни, далеко ли последний вагон. И она, верно, тоже... Оглядываюсь, где же она? Поезд все идет, гремит, а она, Лена-то, гляжу, лежит. Ко мне головку повернула, вроде улыбается этак неловко: вот, мол, как со мной... О господи! А через все-то лицо... ото лба от самого... О господи! Страсть!

— Живая? — спросила Катерина, прижимая к груди окровавленную тетрадку.

Соседка задышала, как запаленная, и выдавила лишь два слова:

— Где там.

Василий явился домой, когда Еленку уже привезли и она, обмытая и обряженная ловкими руками соседки, лежала на столе. Увидев, что тут случилось, Василий растерялся и накинулся на Катерину с криком, к чему, мол, ей понадобилось посылать девчонку за линию — как будто не бегала туда Еленка каждый день: школа ведь за линией помещалась...

Но Катерина ничего тогда не понимала, а только глядела и глядела на длинный косой шрам, рассекший Еленкино лицо. Шрам был наскоро зашит в морге и грубо запудрен. Он чуть перекосил девочке губы, и от этого — соседка была права — могло показаться, что Еленка улыбается. «Челюсть стронуло, удар-то какой был...» — пыталась объяснить себе Катерина, но это не помогало и не

могло утешить. Ясно было одно: Еленка переступила грань, навечно оторвалась от матери, уже чужая, повзрослевшая девочка с разбитым лицом и непонятной улыбкой.

От хлопот по похоронам Катерину освободили, тут действовали женщины-соседки и школа, она же стояла закаменевшая возле изголовья девочки, и видение мучительной улыбки длинной занозой входило в ее сердце, чтобы остаться навсегда.

На краю дочерней могилы она тоже стояла молча, тупо слушая речи учителей и ребячий испуганный плач — то плакала, наверное, какая-нибудь из Еленкиных подружек. И когда тихо сказали: «Прощайся», она, леденея, припала губами к холодному рту Еленки и, выпрямившись, с ужасом увидела, что девочка все равно улыбается...

Вслед Катерине, когда она зашагала с кладбища, кто-то озабоченно проговорил:

— Состояние шока. Не оставляйте ее.

Она это слышала, но пропустила мимо. Теперь ей никого не надо было. Она с ужасом думала о том, как сядет за поминальный стол и должна будет есть стряпню соседок.

Но не пришлось ей посидеть за тем столом: едва переступив порог дома, она повалилась без памяти и с неделю пролежала пластом в тяжком полусне. Появлялась возле нее то докторша в белом халате, то сухенькая соседка, она, наверное, теперь тут и ночевала, и однажды тихонько сказала кому-то, наверное Василию: «Кончается».

Когда стало Катерине немного лучше, соседка неприметно исчезла. Пришлось Катерине самой делать все по

хозяйству — топить печку, стряпать, убирать. Через силу бродила она по опустевшему дому и молчала. Василий подолгу следил за ней глазами, то хмельными, а то и трезвыми, и, не выдержав, как-то сказал:

— Чего не плачешь? В голову кинуться может, с ума сдвинешься.

В другой раз и вовсе закричал:

— Вот ударю, заговоришь небось!

— Бей, — коротко и равнодушно ответила Катерина, и руки его со сжатыми кулаками бессильно опустились.

А Катерине безразлично было теперь, хоть бы и убил ее Василий или поездом бы задавило, — все в ней умерло, двигались только руки и ноги да смотрели глаза.

Жила она вяло, кое-как, лишь на заводе появлялось у нее привычное, почти механическое старание.

К работе ее допустили не скоро, врачи советовали переменить профессию — ручная клепка, требующая нешуточной силы, стала тяжела для ослабевшего сердца. Но она ослушалась советов и снова встала на свое рабочее место: ей теперь было чем хуже, тем лучше.

Однажды, собравшись с духом, принялась она за дело: вынесла в сарай кровать Еленки, запрятала на дно сундука ее постель и платьишки, а опустевший угол ничем не заставила, хотя в доме было тесновато.

Хозяйство повалилось из рук, и единственная живность — десяток белых кур и петух — бродила без надзора (кур она держала из-за Еленки, кормила ее свежими яичками).

Весною ничего не посеяла, и в огороде, на жирной, ранее удобренной земле взошли сорняки. Слабо, чуть приметно теплилась жизнь в угрюмом, запущенном до-

мике Лавровых, откуда только и слышались иногда пьяные выкрики Василия. А Катерина все молчала.

И тут у нее в доме как бы ненароком объявилась тихонькая, ласковая и какая-то восторженно-ясная тетя Поля, жившая в соседнем поселке.

Она заставила Катерину чисто прибраться, сама помогла ей по дому, а когда затопили печь, вынула из своей сумочки парного цыпленка и баночку ароматного варенья. Обе они вкусно пообедали, напились чаю, а потом тетя Поля увезла Катерину, совершенно растерявшуюся от неожиданной ласки и привета, в Москву, где и привела в баптистское собрание...

Нельзя сказать, чтобы Катерина в своей жизни не пыталась молиться богу. Мать и в особенности бабушка, женщины верующие, водили ее в церковь, но там она скучала, томилась и только из уважения к старшим отбивала поклоны. Когда же вот теперь, на середине, а может быть, и на склоне жизни случилась страшная беда, у Катерины и в мыслях не мелькнуло, что там, в церкви, найдет она хоть какое-то утешение.

Но баптистское моление не было похоже на церковную службу. Тетя Поля посадила ее чуть ли не на первую скамью, совсем близко от кафедры проповедника, и простые, понятные слова моления сразу заставили ее прислушаться.

Священника тут не было, простой, обыкновенный человек с простым и понятным словом обращался ко всем сидящим в зале. И едва глаза его встретились с глазами Катерины, она затряслась и слезы вдруг подступили к горлу.

Позднее, уже став «сестрою во Христе», она каждый раз ждала на собрании той минуты, когда люди начина-

ют молиться вслух, рыдают, каются, испрашивая милости у Христа, и каждый раз вместе со всеми словно подымалась на высокой волне.

В первый же раз она дрожала так, что зубы стучали и руки леденели. А пресвитер, словно бы увидев и поняв, что с ней творится, сказал тихо и просто: «Ныне, к радости нашей и ликованию, среди нас находятся необращенные, ищущие бога. Но в евангелии поведано: ищущие — найдут».

И еще, глядя прямо на нее, властно повысив голос, сказал: «Если случилось у тебя горе, не сокрушайся и не рыдай, а утешься. Знай, что над тобой свершился высший неземной суд. Ты отмечен богом: назначено тебе великое испытание». Затем пресвитер призвал собрание спеть «гимн двадцать первый» и ранее того сам, растроганно нажимая на каждое слово, прочел начало гимна:

Покрытый ранами, поверженный во прах,
Лежал я при пути в томленье и слезах
И думал про себя в тоске невыразимой:
«О, где моя родня? Где близкий, где любимый?»

При этих словах у Катерины как бы разверзлась рана и, впервые после гибели Еленки, она не справилась с собой, закрыла лицо руками и заплакала.

Ее била крупная дрожь, она была почти в беспамятстве, когда же очнулась, то услышала, что над головой тихо и умиротворенно поет хор, ведомый сильным контральто. Сухонькие руки, руки тети Поли, поддерживали ее, а хор отчетливо и сладостно пел:

Он лил на раны мне целительный бальзам.
И голос мне сказал в душе неотразимый:
«Вот кто родня тебе, вот кто любимый...»

— Христос тебе родня... Христос тебе любимый... — шептала тетя Поля и всхлипывала.

Вот тогда-то Катерине и «открылось», как она потом говорила. Приняв сердцем веру в Христа, она скоро стала «оглашаемой», то есть готовящейся к водному крещению. Потом крестилась и нашла утешение в вечном покаянии, в сознании, что человек есть ничто, пылинка у ног Христа и что земная жизнь коротка и преходяща. «Мир есть пучина бед,— постоянно учили ее в баптистском молитвенном доме,— мир — это скитальческий шатер, долина сомнений и греха».

— Мир — не родина моя,— пели баптисты на собрании,— мой отчий дом — там, в небесах, там сердце все мое...

Погрузившись в этот мир самоуничижения и всепрощения — не только друзьям, но и врагам,— Катерина почувствовала даже некоторую гордость и порою с «праведным» сожалением глядела на неверующих, которые, живя рядом с таким богатством, как вера, не видели, не замечали его...

«Слепые, нищие люди,— думала она.— Чем гордятся, чему радуются!»

Вот почему так воспротивилась она той радости, с какой в цехе отнеслись к ее награждению. «Нет, нет, не поддамся искушению»,— думала она и теперь, лежа в одиночестве, уже на свету, когда луна скрылась из окна и видение Еленки отошло далеко и во дворе сонно запел петух. «Только там правду и утешение найду, только там и ответят и успокоят».

И ей казалось, что там, то есть в общине, среди «братьев и сестер», она должна стоять весь предназначенный ей срок, как стоит дерево в лесу.

III

В тот вечер, когда Ядринцева привезла неожиданное известие о Лавровой, Пахомов, оставшись один, прежде всего обозлился не на шутку. Он был увлечен вопросами реконструкции одного из основных цехов завода, и вдруг в распорядок его напряженного рабочего дня косым углом врезалось «дело» Лавровой.

Наградили женщину, а она оказалась не только сектанткой — мало ли верующих награждали в военные годы, да и нынче награждают,— а еще и ярой фанатичкой: отказалась идти за орденом! Хороша тихоня, затаилась в своих молитвах, столько лет молчала, а теперь заартачилась и в кусты... Вот как неславно получилось. Орден-то она заслужила, это бесспорно, но как теперь убедить ее, что награду нужно принять?

Пахомов встал, подошел к окну.

Был он невысок ростом и со спины, заметно укороченной, немного похож на горбуна. Мелковатая, бережливая походка странно не совмещалась с его широкими и когда-то, наверное, атлетическими плечами: после тяжкого ранения Василий Иванович носил твердую, почти панцирную повязку, защищавшую изувеченную спину.

Глянув в беспокойную тьму заводского двора, он попытался вспомнить, какая из себя Лаврова, молодая иль старая? Если старуха, то дело безнадежно и придется, что называется, спустить его на тормозах.

Нет, не знает он Лавровой. И откуда ему знать, что именно увлекло эту женщину во тьму религии?

Одно можно сказать с уверенностью: она труженица, пришла на завод в военное время, не искала работы полегче, а встала на место мужа, на ручную клепку. По-

теряла мужа, потом единственного ребенка... Наверное, заводские организации, скорее всего цехком клепального, когда узнали о ее беде, выделили безвозвратное пособие на похороны и на этом успокоились.

Василий Иванович зябко повел широкими плечами; может ли протокольное решение успокоить человека в такой неоглядной беде? Нет, не может, он по себе это знал... ни ему, ни его жене даже похоронить не удалось единственного сына, так и лежит он, убитый гитлеровцами, в общей братской могиле. Лежит среди многих других, скошенных войной.

Василий Иванович вздохнул: вот уж ни к чему эти мысли. А Лаврова — он ведь о ней думал,— Лаврова, когда похоронила дочку, опять пришла на завод и опять стала на клепку. Клепка вскоре была механизирована, но работать в этом цехе и сейчас тяжело. Семь часов трясет тебя, как в лихорадке, грохот молотка прямо разрывает уши. Глухота — вот профессиональное заболевание клепальщиков, глуховата, наверное, и эта женщина. Вот оно как: не все с ней просто.

На другой день Пахомов с утра пошел в клепальный цех взглянуть на Лаврову.

Открыв тяжелую дверь, он, оглушаемый непрерывным шумом и треском, неторопливо шагал по проходу. В цехе невозможно было разговаривать, люди под грохот пневматических молотков объяснялись быстрыми жестами. Пахомов поздоровался со знакомыми работницами, молча пожал руку сменному инженеру, потом старому мастеру.

Он заранее узнал, где рабочее место Лавровой, и приближался к нему, сохраняя на лице обычное выражение спокойного внимания.

Клепальщицы работали по две, и он сначала принял за Лаврову ее напарницу, дюжую, толстогубую работницу в тугой цветастой косынке. Ему даже подумалось, что сектантам не так уж трудно было уловить в свои сети эту женщину с крупным равнодушным лицом. Но, завидев Пахомова, толстогубая тронула за рукав свою подругу и довольно-таки приметно скосила глаза. Лаврова выпрямилась — и Пахомов даже шаг замедлил, перехватив взгляд ее серых, недобро блеснувших глаз. Лицо у Лавровой было сухое, красивое, истомленное — темные, тонко, в разлет, выведенные брови сходились у переносья, на скулах горел неровный румянец.

Она тотчас же опустила глаза, чуть отвернулась — лучше, дескать, не подходи...

А Пахомов и не думал подходить. Он медленно прошел мимо, и болезненно-бледное лицо его сохранило прежнее выражение. Но именно в этот момент секретарь парткома твердо решил: надо бороться за эту женщину, изо всех сил бороться!

Добрая половина рабочего дня ушла у него на Лаврову: он понимал, что разговор с ней будет непростым, и, отложив очередные дела, начал готовиться.

Технический секретарь парткома, молоденькая девушка, сбегала в заводскую, потом в районную библиотеку и принесла горку антирелигиозных брошюр и книг. Сам Василий Иванович, связавшись по телефону с «Обществом распространения научных знаний», получил несколько разрозненных номеров баптистского журнала и машинописный потрепанный сборник стихотворных «гимнов». Побывал в парткоме и заведующий клубом, тучноватый, исполненный служебного усердия человек.

Оставшись наконец один, Пахомов закрыл глаза и

устало усмехнулся. Если признаться начистоту, он был безоружен, ему еще не приходилось заниматься вопросами религии и тем более сектантством.

Заводской лекторий, клуб, комсомольцы также не проявляли к верующим пристального внимания, а если иной раз случалось организовать в клубе антирелигиозный доклад, то слушали его те же неверующие, равнодушные к вопросам религии завсегдатаи клуба. Что же спросишь с Лавровой, которой никто не мешал верить и жить так, как внушают пастыри в рясах? Но, кажется, у сектантов ни ряс, ни обрядов не полагается...

Как всегда в моменты душевной неуверенности и недовольства собою, Пахомов обратился к Ленину. В первой встретившейся ему ленинской статье о религии он прочитал:

«Идея бога всегда усыпляла и притупляла «социальные чувства», подменяя живое мертвечиной, будучи всегда идеей рабства (худшего, безысходного рабства)...»

Худшее, безысходное рабство — Ленин говорил об ужасе и отчаянии, порожденных в массах войною. Об ужасе и отчаянии, которые прямо подводили к усилению религии. Это понятно. Но где же логическая связь между деяниями мирных дней и религиозным фанатизмом? Возможно ли, чтобы горе, пусть самое черное, ввергло человека в религиозное рабство?

Сектантство Ленин называл «религиозным сном» и настойчиво советовал,— чтобы пробудить сектантов,— «подойти к ним... так и этак». Эти люди, потеряв правду на земле, искали ее на небе.

Дома, после обеда, Василий Иванович опять раскрыл Ленина и вооружился карандашом и тетрадкой. Тихая,

заботливая Анна Федоровна не удивилась этому: значит, готовится к какому-то докладу, решила она и, забрав посуду, бесшумно прикрыла дверь.

Часа через три она принесла мужу стакан крепкого чая и только что испеченные коржики. Василий Иванович даже не обернулся. Он внимательно читал книжку странно удлиненного формата. Случайно заглянув в текст, Анна Федоровна донельзя удивилась:

— О Христе читаешь? К чему тебе это?

— Надо, Аня,— мягко возразил Василий Иванович. И прибавил совсем уж непонятно: — Вот так мы все думаем. И неправильно.

— Что неправильно? — спросила Анна Федоровна. Василий Иванович только плечами пожал, отодвинул книжку и принялся за чай.

Анна Федоровна вышла, прибралась на кухоньке и снова вернулась к мужу.

— Ну, Вася? — коротко спросила она, усаживаясь возле него и складывая на коленях чисто промытые, загрубевшие от кухонной работы руки.

Когда-то через эти заботливые руки прошли сотни и сотни малышей, постигавших первую грамоту: Анна Федоровна была учительницей младших классов. Война отняла у нее сына, искалечила мужа и еще отняла профессию: тяжко больной муж требовал тройной заботы, он стал теперь ей не только мужем, но и сыном, и братом — единственного ее брата тоже унесла война...

Василий Иванович и мысли не допускал о том, чтобы сидеть сложа руки на пенсии. «Это было бы смертным приговором»,— признался он как-то жене.

Тогда покинула свою работу Анна Федоровна.

Нелегко, наверное, далось ей это решение: ей еще

и сорока лет тогда не исполнилось, а по живости и непоседливости деятельного характера она казалась совсем молодой женщиной. И вот ей сразу же довелось перешагнуть в седую зрелость: пышные волосы ее побелели, в серых глазах навсегда померкли смешливые искорки. В ней вдруг с силой проступило спокойствие. Это было не замкнутое, ледяное молчание «жертвы», а именно спокойствие, доброе, какое-то осиянное, целебное для больного Василия Ивановича.

Он знал: каждый свободный час Анна возится с ребятишками во дворе или, точнее сказать, во дворах соседних домов — кого-то подучает, кого-то обласкивает или, наоборот, поругивает. Но здесь, в этой небольшой тихой квартирке, она принадлежала ему безраздельно. Не было ни дня, ни часа, чтобы он не ощущал возле себя Анну, молчаливо и прочно затаившую свое горе, вернее, их общее горе.

Они не говорили между собой о сыне, опасаясь разбередить незаживающую рану, но сын был с ними, связывал их нерасторжимо. Невозможно было утаить что-либо при себе, не поделиться, не посоветоваться.

И сейчас Василий Иванович ждал, что она придет и спросит, так уж давно повелось: ничего непонятного или непонятого не оставалось между ними. Да и самому Василию Ивановичу хотелось посоветоваться с женой: Лаврова тоже ведь женщина, мать...

Анна Федоровна, выслушав мужа, озабоченно сказала:

— Трудно тебе будет с ней.

— Да, трудно,— невесело согласился Василий Иванович.— Баптисты не так просты, как может показаться сначала. Это не изуверы, вроде пятидесятников или хлы-

стов. Людей они не калечат, не сводят с ума. Наоборот, верующий у них пребывает в этаком тумане — ласковые проповеди, ласковые песенки (они их гимнами называют), душеспасительные беседы о царствии небесном... Любовь и еще раз любовь,— Василий Иванович жестковато усмехнулся.— И в третий раз любовь, и кротость, и доброта даже к врагам. Полное, понимаешь ли, благолепие и тихость. Яд глубоко запрятан, умело. Действует медленно, но, я бы сказал, неотвратимо. Был человек — и нет человека, а есть тварь Христова. Все радости по ту сторону жизни, в небесах. А земля — пустыня греха. Стало быть, не для чего на этой земле трудиться, верить, бороться. Человек как деятельная личность, как борец исчезает. Что же получается? Общество наше стремится пробудить у людей активность, волю к действию, а сектанты эти, наоборот, учат: сиди ты, раб Христов, в своей тихой заводи и не шевелись, пока тебя божественная воля не пошевелит! Одним словом — Саргассово море!

— Что? — спросила Анна Федоровна, обеспокоенная лишь тем, что Василий Иванович столь необычно взволнован.— Какое еще море, Вася?

— Саргассово.

Василий Иванович провел ладонью по лбу и заговорил спокойнее.

Он услышал о Саргассовом море еще в ребяческие годы от отца, моряка торгового флота.

У отца вроде поговорки было:

— Да тут Саргассово море, конца-краю не найдешь!

Или же так:

— Подумаешь, нашли Саргассово море!

Из книг о путешествиях и приключениях Пахомов постепенно прознал, что это за море. Оно находится в коль-

це четырех океанских течений. Береговая линия у него неизменна со времен Колумба: море-то ведь почти неподвижно из-за скопления водорослей, которое делает его похожим на океанский луг.

Упоминание об океанских лугах можно найти еще у Аристотеля. Круто соленые, горячие, на глубину до трех тысяч метров, воды Саргассова моря заполнены, можно сказать, забиты тропической растительностью, водоросли возле берегов цепляются за дно и растут, размножаются с невиданной силой. Оторванные от корней, становятся бесплодными, но продолжают расти. Получается заводь, из которой выхода нет: водоросли рождаются, живут и здесь же умирают. Переплетенные и перекрученные в плотные ряды, саргассы могут даже корабль остановить.

— Саргассово море,— после некоторого молчания повторил Василий Иванович, и Анна Федоровна поняла, что говорит он о сектантах.— А если заглянуть внутрь, то что же обнаружится, как думаешь? Обнаружится прежде всего приспособленчество.

— Зачем им приспособленчество? — удивленно спросила Анна Федоровна.

— Чтобы существовать,— резко ответил Василий Иванович.— Чтобы крепче держать паству в руках. Сектантские вожаки понимают: не так-то легко перетянуть советского человека из нашего мира в это благостное затишье, где надо только заботиться о спасении души. У советского человека, даже у самого отсталого, все-таки имеются общественные навыки. Поэтому баптистские «пастыри» воздают, так сказать, «богово — богу, а кесарево — кесарю»: возглашают здравицы за наше правительство, молятся за «дело мира». С первого взгляда может показаться: эти люди не выключают себя из советской

жизни. Но...— Василий Иванович раскрыл книжку журнала и постучал по странице согнутым пальцем,— с каким старанием вышелушивается активное начало из того же, скажем, дела мира. Оказывается, борьба за мир — это дело господне, а «божий дух» сильнее бомб, потому что он делает людей лучшими... Представь себе, Аннушка, что было бы с делом мира, если бы мы в борьбе за мир в современной обстановке стали надеяться и ждать, когда «божий дух» сделает всех людей хорошими?

— Как все странно,— тихо произнесла Анна Федоровна.— Не приходилось об этом думать.

— Не приходилось,— с горечью согласился Василий Иванович. — Даже для меня, секретаря парткома, это новая «нагрузка». Но ты послушай, Анна, как они исхитряются. Когда речь заходит о библейских чудесах, слишком уж неправдоподобных, их, с позволения сказать, идеологи напускают густой туман. В древности, мол, дух святой сошел на апостолов в виде огненных языков и с шумом великим. И сейчас, дескать, дух святой тоже сходит на верующих, но по-новому, без шума и без огня. На языке человеческом, видишь ли, нет таких слов, которые смогли бы выразить божьи действия! Значит, в конечном счете тот же поповский запрет на трезвое понимание, на трезвую оценку: верь слепо и не рассуждай!

Василий Иванович перелистал журнал и после короткой паузы заговорил опять.

— Только баптистские идеологи похитрее попов. Те просто твердят: верь, и всё! А эти сплошь да рядом прибегают к доводам от науки. Вот, например, вопрос задают: мог ли появиться на челе Христа кровавый пот? И отвечают: да, мог. «В медицине известно, что кровь выступает через поры...» Слышишь? А вот объяснение:

«...Это порождается состоянием напряженной борьбы между сознанием долга и ясным сознанием страданий, которые должны последовать после выполнения долга...» Нескладно, но медицина все-таки упомянута. Чтобы, значит, покрепче было.

— Покрепче? — улыбнулась Анна Федоровна.— И что же, убеждает паству такая путаница?

— Должно быть, кое-кого убеждает,— раздраженно отозвался Василий Иванович и опять полистал журнал.— А вот, обрати внимание, на какие рассуждения пускается их главный брат Строев. Он, представь себе, пытается провести водораздел между умом и душой человека, а в более крупном плане — между наукой и религией. Он учит, что на вопросы души отвечает слово божие, а на вопросы ума ответы дает наука. И друг другу они, религия и наука, якобы не противоречат. Отсюда делается вывод о возможности и — слушай внимательно! — даже закономерности сосуществования коммунизма и Христова учения. Христос по-ихнему был первым коммунистом на земле.

— Христос был первым коммунистом,— повторила с иронией Анна Федоровна.— А я и не знала.

Василий Иванович помолчал, сдвинув светлые брови, он, кажется, даже зубы стиснул.

— Это уже рассчитано на людей, полностью одураченных, полностью ослепших! И знаешь, Анна, мне думается, они опаснее православных попов. Действуют тоньше, обдуманнее, находят время терпеливо обработать каждую «овцу». Крещение у них принимает взрослый человек после долгой подготовки. Службу справляют не на церковнославянском, а на русском, можно сказать, на житейском языке. Иконы, рясы, кресты и всякую церков-

ную парадность отвергают. Словом, простому человеку они понятнее, доступнее...

— Но ведь это всего только секта, одна из сект. Их, наверно, немного, Вася? — спросила Анна Федоровна.

— Нет, к сожалению, много, Аннушка. И у них международные связи. Их будущие пресвитеры, например, обучаются в баптистском колледже в Англии.

— Вот как!

Василий Иванович закрыл журнал, отложил в сторону. Мысли его, должно быть, вернулись к Катерине Лавровой, потому что он сказал:

— Женщин у них много... по крайней мере, в московской общине. «Брат» Строев иногда обращается к ним с особым словом. И послушай, какое опять противоречие.— Василий Иванович придвинул к себе мелко исписанный блокнот.— «Первым снопом, пожатым в Европе для Христовых житниц, была женщина Лидия»,— это слова Строева. И далее он добавляет не без расчетливой лести: «Как это должно быть отрадно для наших сестер!» А затем изрекает совсем уж всерьез: «Женщины в христианстве всегда имели большое значение, они много сделали для Христа... Влияние женщин вообще велико в мире. Кто-то сказал, что событиями мировой истории руководят женщины...»

Василий Иванович приглушенно засмеялся:

— Историей руководят женщины... Восхитительно, правда, Аннушка? Ну-с, а дальше следуют изречения совсем иного толка — из евангелия, из библии. Трудновато приходится «брату» Строеву: женщина у него то созидательница истории, а то мужняя раба. Да, да! Тут тебе и поучения, сестры должны распевать стишки о том, что

доля женщины издавна полна скорби и суждена ей горькая жизнь и неволя за первородный грех Евы.

— Какая чепуха! — возмутилась Анна Федоровна. Теперь-то и она поняла, почему так волнуется, так кипит Василий Иванович.

Поняла и тоже вспомнила о награжденной работнице, с которой начался их разговор.

— Очень трудное дело ты поднял, Вася. Хочешь говорить с Лавровой?

— Да.

Анна Федоровна с сомнением покачала головой и вдруг сказала:

— А ты ей, Вася, поверь.

— Как это — «поверь»? — недоуменно и даже чуть сердито спросил Василий Иванович.

— Ну, доверие выскажи, как хорошей работнице. Когда она увидит, что ты ей доверяешь...

— Ну, допустим,— нетерпеливо вставил Василий Иванович.

— Доверие всего важнее! — заторопилась Анна Федоровна.— Она явится к тебе настороженная, будет ждать внушения за то, что в Кремль не пошла. Доверием ты, Вася, сразу переломишь в ней настроение. Потом уж придется тебе тропку в каменной скале пробивать.

— Это так.

— Привел бы ты ее ко мне,— неожиданно закончила Анна Федоровна.— Я бы с ней попросту, по-бабьи поговорила.

— Нет, тут по-бабьи нельзя,— возразил Василий Иванович.— Говорить надо не вокруг да около, а напрямую. Пожалуй, еще и в библию придется заглянуть. Завтра обещали достать...

IV

Прошел день-другой, и «случай» с клепальщицей Лавровой, поначалу представившийся Аполлинарии Ядринцевой колючей служебной неприятностью, предстал перед Василием Ивановичем Пахомовым во всей своей подлинной сложности. И он, Пахомов, теперь уже и сам не захотел бы отступиться, не думать, не мучиться над тем, как распутать крепкий узелок: судьба этой хмурой женщины, Катерины Лавровой, по-настоящему его растревожила.

По привычке добросовестного, или, лучше сказать, совестливого человека — работать только с предельной отдачей сил,— он методически перечитал литературу, а потом обратился к источникам совершенно иным: попросил достать из архива комплект заводской многотиражки военных лет. И тут, на пожелтевших страницах газеты, он трижды встретил знакомое имя и долго, почти со смятением разглядывал портрет ладной, плечистой, ясноглазой женщины, прежней, военных времен, Катерины Лавровой.

Оставив на столе раскрытый комплект многотиражки, Василий Иванович сходил в клепальный цех и привел к себе в кабинет двух старых рабочих. Старики ничего не знали о сектантстве Лавровой, и оба в один голос говорили, что в военные годы Катерина, еще совсем молодая женщина, была не только ловкой, но и боевой работницей — первая осмелилась не уходить из цеха в долгие часы воздушных налетов и увлекла за собой других, молодых и старых клепальщиц.

— А сама-то уж вдовой была,— толковали старики,— и дома ее ждал малый ребенок. Боялась, поди, оставить

дитя сиротою: асы над нами подолгу кружили, завод-то какой, сам знаешь...

Пахомов не решился сказать старикам, что Катерина ушла в секту и стала человеком совсем иным: ни к чему это было сейчас, да и слишком сделалось ему больно и обидно за Лаврову.

Отпустив стариков, Василий Иванович снова перечел очерк о храброй и самоотверженной клепальщице номерного завода и, уже не колеблясь, пришел к решению — разбудить в Катерине рабочую гордость.

Что, казалось бы, может быть естественнее: вернуть человека к самому себе?

Но как это сделать, не лягут ли между той и этой Катериной десять лет беспросветного отрешения от мира?

Он припомнил ленинский совет терпеливо, «так и этак» пытаться переубеждать сектантов. Не раз за эти дни он, пока еще мысленно, спорил с Лавровой. Но в споре слышал только свой голос; сектантка ведь безмолвствовала, и он не знал, куда, в какую сторону ее кинет.

Нет, не складывался план неизбежного объяснения с Лавровой, и только все сильнее разгоралось желание во что бы то ни стало оторвать эту женщину от непрерывного рабского угождения богу.

Пораздумав еще два-три дня, он наконец попросил Лаврову зайти после смены в партком.

— Я не задержу тебя, Катерина Степановна,— прибавил он на всякий случай.

Она, слегка побледнев, кивнула.

И заявилась сразу после смены. Бесшумно прикрыв дверь, остановилась у порога, с виду уже спокойная, но явно настороженная.

— Проходи, Катерина Степановна, садись! — сказал

Пахомов и по-будничному просто добавил: — Я сию минутку.

Сделав вид, что дочитывает неотложную бумагу, он искоса поглядывал на Лаврову и все неотвратимей убеждался, что она уже приготовилась к «судилищу».

— Как здоровье? — коротко для начала спросил он, все еще глядя в бумагу и ничего в ней не видя.

Ответ прозвучал сухо. Вернее, не прозвучал, а прошелестел, как камышинки на ветру:

— Ничего... Спасибо.

Катерина все эти дни ждала, что вызовет ее Ядринцева, но не удивилась и вызову Пахомова. За это время она изготовилась, внушила себе, что господь дарит ее новым испытанием, и, услышав теперь первый и пока еще простой вопрос, мысленно воззвала: «Научи меня, господи!» А про себя решила: «От этой вот минуты, прежде чем ответить искусителю, буду отвечать Христу, тогда никакой искус, никакое лукавство не собьет меня с пути вечной истины».

И она уже ощущала в себе тот подъем и слышала тот голос, что звучал лишь в редкие и самые высшие минуты моления. Нет, она не боялась... Только бы уж поскорее!

Пахомов отложил бумагу и негромко сказал:

— Рад поздравить тебя с орденом.

«Вот оно! Господи, жажду тебя, укрепи!»

— Спасибо,— холодно отозвалась Катерина и с заколотившимся сердцем медленно прибавила: — Только ошибка у вас вышла... Какие уж ордена! Знаю, за темных нас почитаете.— Она вскинула голову, и большие глаза ее под сросшимися бровями сверкнули скрытым огнем.— А свет, он у нас и есть.

В этих словах прозвучал вызов.

Пахомов как будто ничего не заметил и, спокойно поднявшись, пошел вдоль стола. Когда он сел в жесткое кресло напротив Катерины, она отодвинулась и вся словно сжалась.

«Бог мой, щит мой, твердыня моя!» — словно молотом стучало у нее в голове.

Пахомов смотрел и дивился — движения женщины, исполненные сейчас какой-то суетливой, униженной робости, не вязались с упрямо-твердым и даже властным выражением сильного и красивого лица.

Как странно: такие вот сероглазые русские женщины в годы войны, случалось, шли на расстрел и в последнюю минуту, неукротимо вскинув голову, успевали плюнуть в лицо палачу!..

— Награду тебе дали, Катерина Степановна, правильно,— сдержанно проговорил Василий Иванович.— Государство спасибо тебе сказывает за то, что в тяжелый год войны на завод пришла вместо мужа, встала на трудную работу и до сего дня честно делаешь свое дело. Мы гордимся тобою. Или ты этого не видишь?

— Вижу,— ответила она, едва разомкнув спекшиеся губы, готовые сейчас извергнуть совсем другие слова: «Храни меня, господь, не дай искать славы в этом мире... Дай остаться овцой послушной у ног твоих!»

Пахомов чуть помедлил и размеренно, словно бы речь шла о вещи сверхобычной, прибавил:

— А насчет веры, Катерина Степановна... Ну что ж, на веру твою не посягаю.

Широкие сильные плечи Лавровой дрогнули, лицо окаменело, и только губы непрестанно шевелились: уж не молилась ли эта блаженная? Но ведь он сказал не бог весть что — верующие, и Катерина в их числе, наизусть

знают статью Конституции о свободе совести. Иль, может, обыкновенная совесть, человеческая и гражданская, подсказывает ей, что он, секретарь парткома Пахомов, не может не посягнуть на ее веру?

Василий Иванович покосился на руки собеседницы — она сложила их на коленях, иль, скорее, не сложила, а сцепила с такой силой, что кончики пальцев побелели. Эх, женщина, неужели не осталось в тебе ни единой кровиночки от той Катерины Лавровой, что не боялась фашистских бомб? Когда же и как сектанты опутали тебя с головы до ног рабьими своими сетями?

Саргассово море...

Да, именно Саргассово, с обманчивыми просторами «океанских лугов», которых опасливо сторонились оснащенные парусами корабли старинных мореплавателей.

Пахомов вынул портсигар, медлительно перебрал папиросы, нашарил в карманах спички.

Профессия летчика научила его умению владеть собой в любых обстоятельствах — недаром он, почти смертельно раненный, умудрился дотащиться до аэродрома, а потом, немного позднее, на госпитальной койке молча, без крика и стона, выслушал весть о гибели своего единственного мальчика.

Но сейчас нелегко ему было сдерживаться, не говорить лишнего, слишком стремительно и неудержимо нарастало сложное чувство горечи и какой-то злой жалости к этой женщине.

Правильно ли поступил он, сразу сказав о вере?

Но об этом сейчас не время гадать, надо решать, идти ли напрямую, в лобовую атаку, или же испробовать обходный маневр. Не лучше ли сказать о доверии, как предлагала Аннушка?

Вздохнув, Пахомов твердо и уже не сдерживая себя проговорил:

— Я действительно рад, что тебе орден дали. И старые твои товарищи рады. Они помнят, Катерина Степановна, как ты под бомбами клепала и не боялась...

Она ответила совсем тихо и просто:

— Боялась.

— Боялась, но не показывала,— живо подхватил Пахомов.— А это и есть храбрость, говорю тебе как человек военный. Да вернись те годы — я бы тебе, товарищ Лаврова, не только клепку доверил, а весь цех под твои руки мог бы поставить. Верно говорю,— сурово добавил он: всегда, как только заговаривал он о войне, его словно на высокой волне подымало, и он стеснялся своего волнения.— Верно говорю, потому что знаю: ничего, кроме добра, ты своему заводу не хочешь. Верю и доверяю тебе во всем... кроме одного.

Катерина пошевелила руками на коленях, губы у нее с силой сомкнулись. Она ждала.

— Кроме одного: что ты настоящая сектантка.

Показалось, будто слова эти произнесены громовым голосом.

Она на мгновение даже глаза закрыла: что же это, как же пошла она навстречу соблазну? Заслушалась и обо всем вдруг позабыла, кроме тех далеких, как сон, туманных лет. Вот оно, искушение: подкралось, и его не чуешь. Еще один шаг — и пропасть под ногами.

Память тотчас же подсказала спасительные строки: «Сон... только сон... все на земле почитаю за сон, чтобы приобресть Христа! Знаю, знаю только одно: слово божье есть чистое словесное молоко, семя, дождь и снег, молот, обоюдоострый меч!»

Она произнесла это мысленно, как заклинание, затем с трудом разлепила губы и сказала:

— Что доверяешь — спасибо. А только я настоящая. Мню себя настоящей,— тут же поправилась она и, кинув на Пахомова смятенный взгляд, едва не закричала: «Бог мой — скала... покров во время бури!» Но вместо этого сказала с тихой, но обжигающей страстью: — Вера мне — свет и мир. Я там теперь, как дерево в лесу. Жизни хотела себя решить, они отвели...

Как понять этому человеку, о чем она говорит? Ну да ладно, сейчас отступится и отпустит. Но почему он улыбается с такой печалью? Нет, обо мне нечего печалиться, я счастливая, потому что виден мне свет незакатный.

— Знаю,— тихо проговорил он.— Все знаю про дочку твою и жалею, что не узнал раньше.

У Катерины дыхание перехватило, в ответ вырвался стон:

— Этого не трожь!

Судорога сдавила ей горло — мгновенно ожило неубитое, прокаленное ее горе.

Пахомов встал, отошел к окну, и Катерине смутно, сквозь муку подумалось, что секретарь парткома решил пожалеть ее, решил дать ей время успокоиться, овладеть собой.

На мгновение «божий» голос умолк в ней, и она увидела себя со стороны — жалкую, растерянную, съежившуюся в жестком кресле. Нет, жалеть ее, наверное, невозможно. Сейчас секретарь ударит ее твердым и последним словом...

Но она ошибалась. Пахомов был подавлен и недоволен собой. Не получился у него разговор, не сумел он подой-

ти к этой женщине. Не сумел потому, что взял да и выложил все напрямую. Не дал ей времени подумать, а только перепугал и оттолкнул. Сейчас она, поди, мается, ждет, чтоб ее отпустили. А когда отпустят, побежит в общину, «к себе». Вросла, как дерево в лесу...

И тут страшная, колючая боль полоснула его прямо по сердцу: да ведь у него и у его Анны горе одинаковое с Лавровой,— их мальчик погиб тоже, когда было ему двенадцать лет! А если сказать об этом — неужели не отзовется Лаврова, не откроется? До сих пор он ни с кем, кроме Анны, не делился своим горем, но ради этой женщины можно и нужно нарушить запрет...

Василий Иванович перевел дыхание и медленно обернулся к Катерине:

— Зря бередить не к чему, но беда у нас с тобой одинаковая.

На бледном, отчужденно-замкнутом лице женщины отразилось изумление: до чего же в агитации человек может дойти, вон как исхитряется! Но едва Пахомов заговорил, как сердце в ней будто остановилось.

Он говорил короткими, страшными, скупыми фразами и при этом неловко морщился и даже заикался.

За неделю до войны они с женой отвезли сына в Белоруссию, погостить в деревне у бабушки. Весть же о его гибели дошла до них только в конце войны: ту деревню, где гостил мальчик, гитлеровцы сравняли с землей, молодежь угнали в Германию, а стариков и детей уничтожили. Насчет себя Василий Иванович лишь помянул, что ранили его тяжело, так что пришлось «собирать» по косточкам.

Только закончив рассказ, давшийся с таким трудом, он прямо и сурово взглянул на Катерину.

— Сыну тоже было двенадцать лет.— Голос у него звучал несколько свободнее, но отдавал хрипотцой.— И тоже единственный. Скажешь, не одинаковые мы с тобой?

Катерина не могла выдавить из себя ни одного звука. «Одинаковые... Нет, нет, неодинаковые. Он еще и сам калекой остался. А она-то думала — горбун...»

Тут она окончательно растерялась и растеряла все мысли, а Василий Иванович, подойдя к ней, снова уселся в кресло и вытер потный, розовый от висков лоб с высокими залысинками.

— Не только мы с тобой, Катерина Степановна, такие «одинаковые»... Мало у нас семей, которых не коснулось бы горе войны. Скажешь: меня уж после войны ударило. Но твоя беда началась с того, что убили мужа и осталась ты одна.

Катерина кивнула головой и прошептала едва слышно:

— Это конечно.

— Вот. А утешения в таком горе нет и быть не может. Горе умрет только с матерью... И ни к чему от такого горя ее отводить. Это все равно, что пропасть кисеей затягивать. Нет, себя не обманешь.

— Да,— почти беззвучно отозвалась Катерина и даже вздрогнула: что это она — уже и соглашается?

— Мое утешение и мое счастье в труде.

Эта фраза, произнесенная секретарем парткома, была такой привычной, такой примелькавшейся, что Катерина тотчас же пришла в себя: ну вот, началась эта самая агитация и как ее еще там — пропаганда, что ли?

Но Пахомов, чуть помолчав, с необыкновенной силой сказал:

— Труд для меня — не искупление грехов, не про-

клятие человеку от бога, не очищение перед господом. Я тружусь не для загробной жизни, а для живых людей, для «грешной» земли. И не боюсь перестараться, перейти стопроцентную норму, я жадный.

Она не могла понять, откуда набрался он слов, которые привыкла она слышать только в молитвенном доме, и никак не ожидала услышать здесь, в этой комнате, в парткоме! И она не находила слов в ответ — ни святых, евангельских, ни обыкновенных, мирских...

— Они «отвели» тебя от горя, то есть попросту заставили глаза на него закрыть. Небось еще сказали, что горе — это благой дар, что дано оно тебе свыше во искупление грехов.

Она едва не закричала, но удержалась и только губы закусила.

— А ты не трясись, Степановна, ругай меня, если что неверно сказал. Ругай сколько угодно, а только уж позволь договорить до конца. Я тебе самого главного не сказал. Они так или иначе тебе помогли с горем совладать, отодвинуть горе от себя...

И тут Лаврова, не глядя на секретаря, выдавила сквозь зубы:

— Нет.

И он понял: не умеет лгать эта женщина. И мягко сказал:

— Вот видишь. А главное у тебя отняли: радость труда отняли. Старанье твое холодное. Тебе, наверное, и в голову не придет с гордостью, с любовью взглянуть на самолет, что в небе летит. Он летит, а заклепки на нем твои, надежные. Ну да где тебе в небо смотреть, ходишь ведь ты с опущенной головою... Нет, извини, Катерина Степановна, не верю я, не хочу верить, что ты овца в стаде,

тварь земная, тень у ног Христа, и как еще там у вас говорят... Силищи в тебе вон сколько, ты наш, рабочий человек, а не постница, не кликуша. Не верю. Теперь все сказал.

Они помолчали, и он, видя, что Лаврова не поднимает головы, деловым тоном добавил:

— В Кремль пойдешь, когда вызовут следующую очередь награжденных. Пойдешь и получишь свой орден. Ты его честно заслужила. И ни чей-то чужой, а свой собственный получишь. А разговор этот пусть останется между нами. Ответа не жду сейчас. Подумаешь — придешь.

Катерина слабо шевельнула плечами.

— А не придешь — не обижусь,— спокойно заключил Пахомов.— Поймешь в свое время, что сказал тебе чистую правду и обидеть тебя не хотел. Наоборот.

Он встал, подал ей руку. Она неопределенно сказала:

— Нет, чего же...— и, сгорбившись, пошла к двери.

V

Всю эту неделю Катерина работала в дневную смену и только в воскресенье, задолго до назначенного часа, смогла войти под своды бывшей реформатской церкви, превращенной в молитвенный дом. Несмотря на то, что моление должно было начаться не скоро, три или четыре десятка братьев и сестер во Христе уже сидели на скамьях, окрашенных в темноватый цвет. Соединяясь в небольшие стайки, они переговаривались тихо, но так увлеченно, что Катерину заметили и ответили на ее поклон далеко не все. Она не обиделась, а только грустно улыбнулась и, пройдя к передним скамь-

ям, уселась на свое привычное место, напротив кафедры проповедника.

Теперь следовало ей склонить голову, отрешаясь от всего суетного, что она принесла с собой вместе с пылью, осевшей на одежде. Но она не могла, не осмеливалась молиться в том состоянии растерянности и смятения, какое владело ею во всю эту долгую, необыкновенно трудную неделю.

Вот сидят братья и сестры, жаждущие наград небесных, она тоже пришла в молитвенный дом, она тоже жаждущая, но ей уготовано другое, и в скором времени должна она пойти в Кремль, чтобы там принять иную награду, человеческую и суетную. И не только принять, еще и благодарить за внимание, за высокую честь. Что же она сделала такого, чтобы ее надо было награждать? Разве одна она из месяца в месяц выполняет норму? И какая заслуга в выполнении нормы, если за это деньги платят?

Пахомов в недолгом, но памятном разговоре упорно возвращался к тому, как она в военные годы работала под бомбами. Но разве можно найти хотя бы тонюсенькую нить, которая протянулась бы от тогдашней Катерины к нынешней? Выходит, не ее наградили, а давнюю... ну, тень ее, что ли... И при чем счастье труда, о котором так настойчиво говорил Пахомов? Об этом в газетах пишут, об этом по радио толкуют, но она, Катерина, по себе знает, что труд есть обыденная тягота и чтобы получить кусок хлеба да крышу над головой, обязательно надо эту тяготу отбыть.

Хлеб и крыша над головой — вот и все, от этого не уйдешь, как от ног, как от рук своих не уйдешь. Вон у нее ручищи-то, доброму мужику впору. А у Пахомова руки исхудалые, как у тяжко больного. Он больной и есть, весь

переломанный, весь избитый, говорят, на войне летчиком был, на войне и покалечился. Таким пенсия хорошая полагается, значит, мог бы он, не трудясь, жить на свою пенсию. Но, видно, не хочет жить в тишине да покое, и тут его не оспоришь.

И слов его о горькой пропасти тоже не оспоришь. В чем другом, а в этом она не может ему не поверить: он ведь отец, а когда гибнет дитя, горе одинаково подсекает родителей, потому что это их кровь гаснет в ребенке, их тело умирает. Все видят, как тяжко Пахомову ходить по цехам, да не все знают, что ему, может, не оттого только тяжко, что плоть его искалечена, но еще и оттого, что на плечах горе повисло. Не избыть того горя до смертного часа. И ей, Катерине, тоже не избыть. И как же решился он, узнавший самое горькое горе, столь безжалостно ударить ее словами о твари ползучей?

Нет, невдомек ему, кто и для чего насылает на людей испытания! Не знает он, что верующий должен во прахе у ног Христовых безропотно принять любую кару и, как желанное бремя, пронести через земную жизнь.

Через всю, через всю жизнь!..

Губы Катерины дрогнули и зашевелились:

Я быть ничто желаю,
У ног лишь его пребывать,
Сосудом пустым и разбитым,
Годным волю его исполнять...

Этот стих часто пели в молитвенном доме. Она вспомнила и другой стих и еще жарче зашептала:

Боже, жизнь возьми,
Возьми руки, их к тебе
Простираю я в мольбе.

Возьми голос... возьми ноги... возьми волю,—
должно ей
Волей только быть твоей...
Ум направь, чтоб твой закон
В силах был исполнить он...

Стих немного успокоил Катерину, он был мольбой ее и защитой от мучительного сомнения.

И не просто мучительного, а еще и пагубного — недавно вот в этом доме проповедник сказал:

— Бойтесь сомнения, оно может столкнуть вас с прямого пути веры на кривую тропу Иуды.

Это все слышали, все, кто пришел сюда...

Катерина обвела взглядом небольшой, но высокий со светлыми хорами зал. Он уже приметно заполнился — среди тех, кто пришел на моление, преобладали женщины, одни из них сидели, молчаливо сосредоточенные в себе, другие оживленно шептались. Кое-кто, держа на отлете тетрадку с гимнами, медленно шевелил губами.

Эти уже молились.

А соседка справа просто-напросто дремала.

Уткнув в грудь мелкое, с кулачок, лицо, к которому будто случайно прилеплен был мясистый подбородок, она бесстыдно похрапывала, и Катерине грустно подумалось, что в этой сестре, безобразной и слезливой до крайности, едва ли найдешь опору, так необходимую падающему. Тетя Поля — вот опора безотказная. Но тети Поли не было видно на той стороне зала, где она обычно сидела, окруженная множеством старух.

Старухи издавна облюбовали ту сторону и сегодня, как обычно, сидели там слитными рядами, почти неразличимые в своих темных одеждах и белейших платочках. Катерина словно бы впервые увидела их и до испуга удиви-

лась странной одинаковости угасших лиц, сморщенных и мертвенно-желтых.

Казалось, сидят старухи у края могилы и ждут неизбежного часа.

Чего же другого ждать, когда жизнь давно отшумела для них?

Та же тетя Поля — от большой семьи осталось у нее одно пепелище, слезы все выплаканы, тоска сиротства избыта, ну и утешает себя одинокая душа мечтой о вратах жемчужных.

Для старой и мечтания довольно. Но она, Катерина, не стара еще, и значит...

«Нет, нельзя об этом!» — спохватилась она, и в смятенной памяти тотчас же возникли строки из псалмов Давида, столько раз читанные и перечитанные в псалтыре, ветхой, с прожелтевшими страницами книжице тети Поли:

«О спаситель, яви дивную милость твою... в тени крыл твоих укрой меня, господи! Ибо кости мои потрясены... и душа моя сильно потрясена...»

«В тени крыл твоих укрой меня, господи!» — с покаянной тоской шепотом повторила Катерина. Плечи ее колыхнулись от вздоха — это разбудило соседку. Но здесь не принято было отвлекать друг друга от молитвы: слезливая сестра сочувственно вздохнула, откинулась на спинку скамьи и тоже стала шептать.

Так, шепча, она сидела несколько минут, а когда над кафедрой зажглись огненные слова — «Бог есть любовь»,— осторожно подтолкнула Катерину. Та подняла голову, оглянулась — пресвитеры уже переступили порог молитвенного дома, и люди, стоявшие в проходе, расступались, пропуская их к невысокому помосту, устроенному в полукруглой нише. Там кроме кафедры стоял стол и

несколько стульев. Пресвитеры один за другим поднялись на возвышение и со степенной неторопливостью, без суеты и лишнего шума придвинули к себе стулья.

Первым уселся старец проповедник, чье главенство давно было признано не только московской общиной, но и баптистами других городов. Утвердясь на стуле, он успокоенно — так показалось Катерине — перевел дух, затем медленно поднялся и подошел к кафедре. В зале сразу стало тихо, старец, может для опоры, опустил руки на обочины кафедры и негромким, чуть хрипловатым голосом произнес первое слово.

Это было напутствие, каким обычно открывалось собрание.

Братья и сестры во Христе слушали внимательно, и Катерина, чуть склонив голову,тоже слушала.

Она чтила старого пресвитера, который служил баптизму, или, как говорили в общине, «трудился в божьем винограднике» чуть ли не полвека. Отеческая доброта старца всегда умиляла ее, смирение его представлялось мудрым.

Но сейчас ей не доброта нужна была, а грозное осуждение, гневное увещевание, и, слушая старого пресвитера, она то и дело поглядывала на другого проповедника, на брата Строева.

Брат Строев сидел справа от стола, он тоже был немолод, однако еще статен, легок в движениях и, главное, полон душевного огня. Даже тихое, чуть ли не вполголоса произнесенное слово его прожигало исстрадавшееся сердце. Когда же доводилось ему с высоты кафедры устыжать провинившихся, поставленных на замечание братьев или — еще страшнее — когда случалось обличать отступников от веры, то и не знающие за собой провин-

ности слушатели не в силах были выдержать взгляда его полуприкрытых и все-таки зорких и грозных глаз.

Признанным ратоборцем воинства Христова считался в общине брат Строев. Катерина благоговела перед ним и всегда ждала его слова, а сейчас ждала и жаждала особенно нетерпеливо.

Но старого пресвитера, вернувшегося на свое место, сменил у кафедры не брат Строев, а другой проповедник — молодой, заметно уже тучный и всегда говоривший так, словно он был учеником, нетвердо знающим урок.

На этот раз он заговорил о том, что приспело время собирать урожай, созревший на ниве.

Как было принято в молитвенном доме, он свою речь расцвечивал стихами, и в зале подхватывали каждый стих, и Катерина тоже подхватывала и пела со всеми. Но просветление не приходило. Только один стих вызвал в ней отклик, однако ж не умильный, а скорее тревожный:

Не хотел бы я бесплодным
К трону господа прийти,
Хоть одну хотел бы душу,
Сноп один в руках нести...

Пропев этот стих, она опять вспомнила тетю Полю.

Вот кто не был бесплодным — она не только Катерину, а еще нескольких женщин привела в молитвенный дом. Катерина же никого не привела, не сумела принесть заветный сноп. Сунулась было к напарнице своей, к Степаниде, та только фыркнула: «Еще чего! Буду я задрав хвост к твоим святошам бегать! Да у меня вот с этим забот хватает», — и с удивительной легкостью подкинула совсем не легкий пневматический молоток, который во время разговора был у нее в руках.

Должно быть, не тяготилась Степанида, или, как она велела себя называть, не тяготилась Паня своим женским одиночеством, на что опирались все расчеты Катерины. Или, может, оглохла от каждодневного грохота молотка.

Тут и впрямь оглохнуть не хитро... Так оглохнуть, что даже и угрозного стиха, которым проповедник речь свою завершил, при всем желании не расслышишь.

Вечную тьму изберешь или свет? Ныне решай!
Смерть за тобою спешит по следам. Ныне решай!

Проповедник выждал, пока в зале не пропели весь стих, затем, блеснув обильно умасленной прической, поклонился и перешел на свое место.

Катерина с тревожным нетерпением глянула на главного пресвитера: кого он теперь объявит?

Но старец, кажется, задремал и только тогда пробудился, когда брат Строев что-то сказал ему на ухо. Старик с видимым усилием раскрыл глаза и некоторое время сидел, как бы никого и ничего не замечая. В зале это ни единой улыбки не вызвало — все почтительно ждали, и Катерина, опустив голову, тоже ждала.

И вот скрипнули половицы помоста и в наступившей тишине властно прозвучало:

— Блаженны чистые сердцем...



VI

Блаженны чистые сердцем! — отчетливо, с резким нажимом повторил брат Строев и тут же, понизив голос, деловой скороговоркой прибавил: — От Матфея, глава пятая...

Была у проповедника Строева завидная способность говорить как бы на разные голоса, это, наверное, помогало овладевать вниманием слушателей. Речь его не убаюкивала, не навевала дрему — он разнообразил ее вопросами, обращенными ко всем и в то же время к каждому в отдельности. И сейчас, объявив тему проповеди, брат Строев первым делом спросил, как надо понимать блаженство.

Ответа он не стал дожидаться, да отвечать и не следовало: вопрос был задан только для того, чтобы погрузить слушателей в мгновенное раздумье. Окинув паству испытующим оком, проповедник со снисходительной готовностью пояснил, что блаженство означает счастье и что блаженные, то есть счастливые, оттого и счастливы, что сердце их чисто.

— Одним из чудных образов церкви Христа является сад, как цветочный, так и плодовый,— чуть покачиваясь над кафедрой, говорил брат Строев.— Но цветок сегодня может радовать наш взор, а завтра покажет желтеющий лист, за ним другой и третий. В чем же дело? А в том, что сокрытый в земле, невидимый для человеческого глаза корень начал подтачивать червь. И ты можешь быть сегодня зеленеющим, цветущим и поэтому довольным своим христианством, но чисто ли твое сердце, в порядке ли твой корень, нет ли в твоем сердце червя? Этот червь, этот грех может повести тебя к увяданию. Значит, если червь греха завелся в нашем сердце, с ним надо быстро покончить.

Брат Строев вскинул руки, короткое мгновение подержал их перед собой и вдруг с судорожной цепкостью свел пальцы, словно бы желая показать, как надлежит расправляться с грехом.

Жест был наглядный, убедительный. Но Катерина почему-то подумала, что с такими руками, холеными и белыми, хорошо по саду прогуливаться, а работать в том же саду, к примеру копаться на грядках, просто немыслимо... Не справятся руки с граблями, не удержат лопаты — это она по себе знала, потому что и ее руки с той весны, как случилась с Еленкой беда, ни разу не притронулись к лопате. Она тогда все забросила, и тем же летом грядки на участке перед дачным ее домишком завились травой. Потом стал разрастаться бурьян, он в конце концов вошел в такую силу, что даже теперь, в мартовскую пору, после зимних морозов да метелей, неподступной чащобой топорщился над осевшим снегом.

«Ну и пусть топорщится,— убеждала себя Катерина.— Экую нашла заботу, ты лучше слушай да вникай!»

И она старалась вникнуть в то, что говорил проповедник. Но не могла вникнуть,— должно быть, отвлекала тревога за тетю Полю или награда нежданная, негаданная. Вот и впрямь, не было печали...

Будто разгадав ее муку, брат Строев тоже заговорил о печали.

Печаль, поучал он, возникает в человеке от нечистоты его сердца, недаром печали сопутствует смятение, порождающее греховные мысли.

«Узнал, проведал!» — чуть не застонала Катерина и так низко склонила голову, что видела только цветы в горшочках, поставленные у подножия кафедры. Эти цветы невинно пестрели в солнечном свете, обильно лившемся сквозь высокие окна. Но к чему такая краса, если человеку и без того трудно войти в сладостное забвение, в котором покорно надо ждать часа суда божьего?..

Стараясь отрешиться от всего постороннего, Катерина

приказывала себе: «Слушай! Слушай!» — и, настораживаясь, прислушивалась к голосу, что с отеческой добротой и учительской строгостью рокотал прямо над головой ее.

— Дорогие братья и сестры! Только мы сами знаем, каковы наши мысли. Апостол Павел говорит о неугодных господу греховных двоящихся мыслях. Это мысли человеков, думающих о боге двояко: может быть, он есть, может быть, его нет; может быть, он всемогущ, может быть, он все же ограничен в своей силе. О, эти двоящиеся мысли, порождающие у нас болезнь — тяжелый недуг сомнения! Как они печалят сердце нашего господа и нас самих лишают радости и благословения! В основе каждого греха, как бы ни был он мал, всегда лежит одно и то же: непослушание богу, его слову, его закону... И это так от дней Адамовых...

Катерина не решалась взглянуть на проповедника, но знала твердо: когда он звонко и горестно воскликнул о двоящихся мыслях, глаза его полузакрылись, а правая бровь словно бы переломилась — так всегда бывало у брата Строева в минуту исступления. Но ей следовало не об этом думать: надо было внимать и молиться, а она то в одну сторону клонится, то в другую...

С горькой усмешкой Катерина обернулась и окинула глазами зал. Первым в поле ее зрения попал старичок, стоявший, или, вернее, толокшийся возле колонны.

Этого старичка, не пропускавшего ни одного моления, она давно знала. От усердия старичок редко присаживался, и Катерина всякий раз видела его стоящим возле колонны. Наверное, место это было им выбрано из предосторожности: есть за что ухватиться в случае чего.

Ноги и в самом деле плохо держали старика, он изо

всех сил опирался на посошок и все-таки покачивался. Но лицо его, поросшее сивым волосом, выражало такое самозабвенное блаженство, что Катерина позавидовала: «Умеет старый молиться! И другие, наверно, умеют. Что же, погляжу и... устыжусь».

Так, укоряя себя, она глянула вверх и сразу увидела на хорах молоденького паренька и такую же молоденькую девушку. Они сидели, прижавшись друг к другу, девушка у всех на виду то и дело встряхивала гривкой светлых волос, негустыми сосульками распущенных по плечам, а парень поигрывал бахромой модного, в крупную клетку, шарфа.

Должно быть, шальным ветром занесло сюда эту пару, никого и ничего не замечавшую: отдернув от бахромы руку, парень вдруг обнял девушку и стал что-то шептать. Она оттолкнула его не сразу и, это было заметно, не очень-то решительно отодвинулась, лишь для окружающих сделав вид, что рассердилась.

Искушения со всех сторон одолевали Катерину: отвернувшись от легкомысленной пары, она прямо перед собой увидела брата-распорядителя, потихоньку усевшегося на той скамье, которую всегда оставляли для гостей и почетных посетителей.

Этого человека Катерина тоже знала давно, он появлялся перед началом денежного сбора и неизменно присаживался на заветную скамью. Казалось, ради этой минуты брат-распорядитель и приходил в молитвенный дом. Денежный сбор, конечно, был нужен. Но брат-распорядитель с такой будничной деловитостью выполнял свою обязанность, что верующим, наверное, вспоминались евангельские строки о торгующих во храме.

Всякий раз приносил с собой суету брат-распоряди-

тель, и, едва глянув на его широкий затылок, на мясистую, покрасневшую от жары шею, Катерина опустила руку в карман и машинально нашарила заранее приготовленную рублевку. То же самое сделали и другие: шелест ассигнаций и звяканье монет слышались отовсюду.

Проповедник в это время поднял зал. Все встали и склонили головы. Но Катерина не сразу опустила глаза долу и успела заметить, что у брата-распорядителя, когда он наклонился, явственно обозначились под оттопырившимся пиджаком округлые, по-женски полные бедра. Странное дело, раньше она этого не замечала!

Отстояв в поклоне положенное время, брат-распорядитель встряхнулся, выхватил из-за пазухи бархатный кошель, быстро расправил его и пошел по рядам. Все это было привычное и, конечно, нужное дело, но Катерина, когда опускала в жертвенный кошель свою рублевку, почему-то подумала, что брат-распорядитель соберет деньги, а после, как продавец в ларьке, примется пересчитывать монеты и мятые бумажки, старательно мусоля их толстенькими пальцами. Эта мысль, низкая и, несомненно, греховная, окончательно ее расстроила.

И тут еще проповедник, будто уличая ее, отчетливо и медленно зачитал стих:

Я согрешил, господь мой, пред тобою...
Ты видишь зло в моих делах,
Ты видишь грех души, объятой тьмою,
Взгляни на скорбь в моих очах...

Этот стих столь унывно и стройно пропет был на хорах, что у Катерины даже в горле защипало. И в голосе брата Строева, когда он вновь заговорил, тоже послышалось сдерживаемое рыдание:

— О, если б мы могли, дорогие мои, подобно святому апостолу Павлу, вместо того чтобы перепоясывать себя и идти по желанию сердца своего, быть перепоясанными Христом и поведенными им, куда он хочет. В послании к римлянам апостол Павел говорит: «А ты кто, человек, что споришь с богом?.. Изделие скажет ли сделавшему его: зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд почетного употребления, а другой для низкого?»

Посмотрим же, что хотел горшечник и что хотела глина. Наша земная жизнь похожа на длинный коридор с дверями направо и налево, как в гостиницах, и каждый имеет перед собой дверь, в которую хочет войти... Но только одна дверь открыта, остальные закрыты. Господи, это ты открыл ее? Да, дитя мое, это я ее открыл. Таков мой путь для тебя. Он не нравится тебе? Он перекрещивает твои планы? Но это мой путь для тебя: иди по нему.

— Иди по нему! — повторил за спиной чей-то голос, тихий, но такой горестный, что Катерина обернулась. Молодая, модно одетая женщина, наклонясь вперед и подняв к кафедре лицо, не сводила с проповедника беспамятных, слезами омытых глаз, слезы, смешиваясь с пудрой, катились по нежно округлым щекам ее, и губы, подкрашенные умело, были влажны и приметно дрожали. «У этой горе или грех какой женский»,— подумала Катерина.

Но горе ли, грех ли, а волнение молоденькой женщины передалось ей, и она вдруг почувствовала ту желанную и исцеляющую боль, ради которой и ходила в молитвенный дом.

Так всегда было: страшно и больно, но именно

с этой минуты начинаешь молиться, каяться и облегчительно плакать. Все постороннее, ненужное отодвинулось, остались только кафедра с цветами у подножия — теперь они не мешали Катерине — и голос проповедника, произносящий не совсем понятные, но такие нужные и прямо в душу идущие слова.

— Святое писание есть наш светильник, братья и сестры! Но если понадобился светильник, то должна быть темнота, должна быть ночь. Мы зажигаем лампаду с наступлением темноты. Но разве у нас темнота? Да, темнота. Это темнота не вчерашняя и не сегодняшняя. Это темнота, свойственная вообще человеку во все поколения рода человеческого. Пророк Исайя говорил: «Кричат мне... сторож! Сколько ночи? Сторож! Сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь!»

Резкий, уже к крику близкий голос брата Строева оборвался так внезапно, что Катерина вздрогнула. Но она понапрасну встревожилась — ничего страшного не произошло: проповедник спокойно стоял за кафедрой и с ласковой снисходительностью улыбался почетным гостям, которых брат-распорядитель чинно вел к запретной скамье. «Иностранцы!» — сразу догадалась Катерина. Их было пятеро, они, как и пресвитеры перед началом моления, продвигались гуськом. Общее внимание смущало их.

Особенно заметно было смущение единственной среди них женщины; от входной двери и до самой скамьи она прошла, столь низко опустив голову, что люди, стоявшие в проходе, могли видеть лишь рыжеватенькие кудерки ее и белую трогательно тонкую шею.

Заняв указанное братом-распорядителем место, ино-

странная баптистка не стала озираться по сторонам, а, положив на колени красивую сумочку, обернулась к проповеднику. Болезненно-исхудалое лицо ее, с тонким носиком и острым подбородком, выразило благоговейную готовность внимать поучениям брата Строева.

«Но ведь она по-русски-то и трех слов не поймет»,— подумала Катерина и тут же возразила себе: «Умом не поймет, а сердцем примет — это и дорого!»

Иностранка, должно быть почуяв ее взгляд, на мгновение обернулась, и Катерина кротчайшим мерцанием глаз успела сказать то, что не могла сказать словами: «Сестра моя, ты издалека приехала, я тебя вижу в первый и, может, в последний раз. Но я не забуду тебя, сестра, потому что Христос соединил нас».

Иностранка легонько кивнула ей и опять повернулась к брату Строеву. Проповедь подходила к концу, брат Строев уже спокойно и немного даже устало призывал паству не отчаиваться, ибо, угождая богу, верующий может через весь хаос, через всю темноту и путаницу жизни пройти по твердой тропе.

— Бойтесь же, братья и сестры, сбиться с этой тропы. А сбиться можно скорее всего, впав в тяжкий грех сомнения. Да не коснется вас, дорогие, черное крыло этого непростимого греха... Христос и только он один пусть останется вашей любовью. Христос, дай мне духа твоего святого, чтобы я ничего не знал, как только тебя, и твои раны, и твою кровь!

Проповедник закрыл глаза и ослабевшим, изнеможенным голосом тихо, но внятно сказал:

— Аминь!

— Аминь! — послушно откликнулся зал, и тут же под светлыми сводами гулко зарокотал орган. Затем торже-

ственно и печально запел хор, в слитном звучании его голосов нежно зазвенело сопрано солистки:

Кругом меня печаль и мгла,
С трудом иду вперед...
...Чрез тьму сомнений и греха
Он знает путь...

Катерина пела со всеми, радость переполняла ее, и, когда хор умолк и в наступившей тишине послышался слабый, отечески добрый голос старого пресвитера, она едва не заплакала от умиления.

Старец пресвитер объявил, что на молении присутствуют зарубежные братья, прибывшие из Англии и Голландии. Зарубежные братья поднялись, Катерина, глянув на них, опять вспомнила о Пахомове: привести бы его сюда, и пусть бы посмотрел он на заграничных единоверцев! Вон они какие, молодые, сильные, про таких не скажешь, что они от неразумия ползают во прахе. А сестра, которая с ними приехала, может, все науки превзошла, но она, Катерина, может сейчас подойти к ней и, как родную, поцеловать...

В руках пресвитера забелела бумажка. Это была телеграмма, тоже из-за границы; разомлевший от духоты зала старец прочел ее вслух, и Катерина еще и еще раз горделиво ощутила значительность того святого дела, в котором и ей, маленькому, незаметному человеку, посчастливилось принять участие. Молодые братья, посланные на обучение в лондонский баптистский колледж, сообщали, что они пребывают в благополучии. Один из братьев, правда, болел и лежал в госпитале, но теперь, благодаренье богу, поправился и уже приступает к занятиям.

— Пожелаем ему и другим братьям успеха в науках, чтобы они с пользой потрудились в винограднике божьем. Аминь.

— Аминь! — согласно и слитно откликнулись в зале, и все стали подниматься.

Катерина тоже поднялась, готовая обнять каждого, кто подойдет с прощальным поцелуем. В этот момент ее тронули за руку. «Тетя Поля!» — радостно догадалась она.

Но перед ней была не тетя Поля, а заграничная сестра. Она что-то проговорила по-своему, затем, выхватив из сумочки аккуратно сложенную бумажку, сунула ее Катерине. Та растерянно приняла бумажку, а когда развернула ее, увидела распростертого над чернотою строчек царского орла.

«Орленая!» — всколыхнулась Катерина. Так родители ее говорили о двух казенных бумагах, оставшихся в доме от царских времен... Какое-то там школьное свидетельство и еще что-то... Ну а здесь что?

«Ожидая от верных сынов родины... активной борьбы с коммунизмом во всех его проявлениях...» Вон оно как! Но кто же ожидает? Ага, император, царь, значит. Откуда бы ему нынче взяться, русскому-то царю?

Катерина поспешно и почти судорожно вскинула голову. Никого в зале не было, кроме брата-распорядителя. Он уже шел к ней, пробираясь между скамеек.

— Ты чего же, сестра? — еще на ходу спросил он и, подойдя ближе, с будничной озабоченностью прибавил: — Мне запирать пора, ты ступай, отдыхай!

Катерина молча протянула ему бумажку. Брат-распорядитель глянул искоса и сразу отпрянул: царский герб, старое правописание...

— Откуда взяла? — спросил он тихо.

— Иностранка подсунула. Та, рыжая.

Катерина сказала это со злобой. Но брат-распорядитель не остановил, не осудил ее. Перевернув бумажку, он выхватил из текста только одну фразу: «Русским людям, находящимся под игом коммунизма...» И подпись: «Владимир».

Круглое лицо брата-распорядителя вытянулось и посерело: «Распутывайся теперь с этаким... подкидышем... А дома ждут, обед, поди, простыл».

— Ты никому не показывала? — спросил он, осторожно складывая бумажку.

— Никому,— ответила она.

Брат-распорядитель испытующе поглядел на сестру. Вид у нее был отнюдь не смиренный, она вся пылала, в глазах были гнев и боль.

«Обед-то наверняка простыл»,— с отчаянием подумал брат-распорядитель, но по привычке повелительного обращения с тишайшими посетителями молитвенного дома, грубовато сказал:

— Ты помалкивай. Никому ни слова, слышишь?

Катерина кивнула, и брат-распорядитель, уже окончательно овладев собой, деловито сунул бумажку во внутренний карман пиджака.

— Я старшим братьям доложу. Они разберутся. А ты молчи.

Но тишайшая «сестра», как видно, не хотела иль не могла покорно поклониться и уйти.

— А эту...— сказала она,— эту рыжую, выходит, заморский полудурок послал?

— Какой полудурок? — спросил брат-распорядитель.

— Какой, какой! — с досадой повторила Катерина.— Ну, Владимир... Он там в заграницах спасается... И при-

мстилось ему...— губы у нее расплылись в сердитой ухмылке.— Примстилось ему, что он царенок... А где царство-то его?

— Это все пустое! — торопливо отозвался брат-распорядитель. Он еще что-то хотел сказать, но Катерина опередила его.

— Рыжая-то как за него старается! — пробормотала она и опять усмехнулась.

Усмешка показалась брату-распорядителю неуместной.

— На пшеничном поле и колос зреет, и плевел растет,— назидательно сказал он.

Катерина глянула на него и, ни слова больше не промолвив, пошла к двери, над которой светились огненные слова:

«Господь со всеми вами».

VII

Рабочий день в цехкоме прошел нынче удачно, Аполлинария Ядринцева, предвкушая заслуженный отдых, уже складывала в шкаф папки с бумагами, как вдруг в голову ей пришла неспокойная мысль о Катерине Лавровой: выполнил ли секретарь парткома Пахомов свое намерение побеседовать с этой женщиной и куда движется дело?

Поколебавшись немного — не отложить ли вопрос на завтра,— Ядринцева сняла трубку телефона. Ей ответили, что Василий Иванович болен, у него гипертонический криз. Ядринцева опустила трубку и растерянно глянула на папку, которую держала в руке. Вот тебе и раз! Как же

теперь с этой баптисткой распутаться? Пахомов взял дело на себя, а теперь так получается, что оно должно возвратиться в цехком и ей, Аполлинарии, снова надо начинать хлопоты, вести всякие разговоры да уговоры. Досадливо сунув папку в шкаф, Ядринцева принялась одеваться.

Решение пришло, когда она застегнула последнюю пуговицу на пальто: надо идти к Пахомову домой, навестить, так сказать, товарища, а попутно узнать, что там с Лавровой.

Аполлинария пообедала в столовой, потом купила у буфетчицы несколько апельсинов. Теперь она окончательно была готова отправиться к больному. Но состояние сумрачной озабоченности не покидало ее.

Она ни разу еще не была у Пахомовых на дому и предпочла бы поговорить с Василием Ивановичем в парткоме; чувствовала себя связанной неуклюжей и даже нелепой, когда попадала в домашнюю обстановку. Это непреодолимое и очень неудобное свойство она знала за собой и заранее хмурилась, шагая по шумной улице и прочитывая названия переулков.

Коротенький переулок или тупичок, в котором жил Пахомов был, видно, непроезжий, здесь стояла необыкновенная, прямо-таки деревенская тишина. Невысокие деревянные дома с деревьями во дворе тоже показались Аполлинарии необыкновенными. «Реконструкция не коснулась»,— подумала она, пожалуй, даже осудительно и, чуть помедлив, нажала кнопку звонка у двери, аккуратно обшитой клеенкой.

В окно, ярко освещенное и только понизу прикрытое занавеской, видны были светло-голубые стены, от которых сразу повеяло чистотой и уютом. Ощущение тишины

и глубокого покоя еще более усилилось, когда Ядринцева вошла в прихожую и поздоровалась с седой сероглазой женщиной, женой Пахомова.

— Раздевайтесь, пожалуйста,— проговорила та очень тихо.

И все-таки до них тотчас же донесся хрипловатый голос больного:

— Кто это, Аня?

Она, не объясняя — ей ведь не было известно, кто к ним пришел,— спокойно ответила:

— Сейчас, Вася.

— Я на минутку,— почти с испугом прошептала гостья.— Скажите — Ядринцева.

Ее провели в ту самую голубую комнатку, что виднелась с улицы,— наверно, столовую. Она тотчас же заметила висевший на стене большой, не очень четкий портрет мальчика с пристальным, пахомовским взглядом. «Сын»,— подумала Аполлинария, и тотчас же печальная догадка мелькнула у нее: к темной раме прикреплен был пучок выгоревших от времени цветов бессмертника...

На пороге столовой появилась жена Пахомова.

— Проходите,— сдержанно пригласила она гостью.— Он рад. Только ненадолго.

Василий Иванович полулежал на подушках, укрытый клетчатым пледом.

— Отлично сделала... что пришла,— сказал он. И тотчас же спросил, указывая глазами на газеты, разбросанные поверх пледа: — Читала?

— Да... просматривала,— ответила Ядринцева.

Ее, конечно, не газеты занимали, а апельсины, что тяжело оттягивали сумочку: как отдать их больному? На

столике возле кровати Василия Ивановича стояла целая ваза с апельсинами...

— Ну... каковы? — нетерпеливо спросил Пахомов.— Каковы парни?

И тут только Ядринцева поняла, о чем, или, вернее, о ком он говорит: в газетах сегодня подробно сообщили об удивительном, почти неправдоподобном подвиге четырех молоденьких солдат-дальневосточников — первой в этом коротеньком списке была названа фамилия сержанта Зиганшина,— четырех юношей, блуждавших в открытом океане на обледенелой барже целых сорок девять дней, более полутора месяцев...

— Молодцы парни,— сказала Ядринцева своим ровным, как бы бесцветным голосом и поторопилась доложить секретарю парткома о том, что «меры приняты»: в клепальном, да и, наверное, во всех цехах в обеденный перерыв проведена громкая читка газетных материалов.

Свой «доклад», однако, ей пришлось прервать чуть ли не на полуслове. Пахомов, явно ее не слушая, лежал, тихо улыбаясь. И она замолчала, смущенно подумав: «Зачем я все это говорю — человек болен, находится на бюллетене».

— Сынки...— прошептал Пахомов и повернул голову к гостье: — Послушай, Аполлинария...

— Ивановна,— робко подсказала Ядринцева.

— Слушай, Аполлинария,— упрямо повторил Пахомов.— Громкая читка, говоришь? Меры приняты... я в этом не сомневался. (Ядринцева начала багроветь.) Да ты подвинься поближе... А то сидишь там на отшибе.

Она придвинулась вместе со стулом вплотную к кровати и, все такая же прямая и напряженная, чуть склонилась к больному.

— Ты только пойми, что произошло,— зашептал Пахомов.— Четыре мальчика должны были погибнуть: открытый океан... баржа неуправляемая... нет пищи, одна гармошка осталась. Нет пресной воды.

Пахомов замолк, переводя дух, и Ядринцева с испугом подумала, что ему совсем ведь нельзя разговаривать.

Но он заговорил опять:

— Люди другого мира, понимаешь... не нашего мира — в таких условиях... способны сожрать друг друга... А эти ребята... Помнишь, что Зиганшин сказал: «Мы должны были погибнуть... но мы надеялись».

Ядринцева не успела ответить, потому что дверь тихонько приотворилась и в комнату вошла жена Пахомова.

— Может, чайку выпьете? — спросила она, со спокойной приветливостью глянув на гостью.

Аполлинария раскрыла было рот, чтоб поблагодарить и отказаться, но Василий Иванович опередил ее.

— Хорошо бы, Аннушка. И, знаешь, можно с коржиками? — спросил он своим как бы шелестящим голосом.

— Конечно, Вася.

Дверь закрылась, и Василий Иванович прошептал немножко виновато:

— Это у нее быстро — коржики. Но я успею... ты отлично сделала, что пришла.

Аполлинария вспомнила о Лавровой, и длинное лицо ее растерянно дрогнуло: неужели так и придется уйти ни с чем?

Василий Иванович ничего не заметил. Закрыв глаза, он попросил Аполлинарию:

— Прочитай мне, пожалуйста, в «Правде»... Там подробно описано, да я так и не осилил: мушки перед глазами мельтешат.

Ядринцева с трудом извлекла из сумочки очки — очень мешали апельсины — и, вздев их на нос, монотонно принялась читать очерк о четырех солдатах, которые, умирая, продолжали аккуратно нести вахты: по очереди скалывали лед с бортов баржи, по очереди стояли, или, вернее, лежали в дозоре, не спуская воспаленных глаз с бушующего океанского простора...

Дойдя до последней строчки, Аполлинария почти умоляюще глянула на Пахомова: утром она только просмотрела газеты и успела понять лишь одно — событие чрезвычайное и надо немедленно действовать, полный же смысл происшедшего дошел до нее только сейчас...

— Ну? — спросил Пахомов.

— Удивительно,— сказала Ядринцева.— Даже поверить трудно.

Василий Иванович открыл глаза и неожиданно улыбнулся:

— А я верю... Да ты, наверно, сама видела в цехе: люди радуются подвигу. Это самое гордое у человека счастье.

Ядринцева промолчала: она только наладила читку и ушла из цеха.

— У меня сейчас очень много времени для размышлений... Единственное преимущество болезни,— несколько свободнее проговорил Василий Иванович.— За плечами у этих ребят — великий подвиг народа... И вот я... маленький человек, грешный, отваживаюсь так подумать: не задаром, значит, я ребра поломал... не пропало. Да что я! Сколько погибло героев... ну, хотя бы в послед-

ней войне... известных и неизвестных. Неизвестных... их больше, слышишь, Аполлинария? Тысячи и тысячи героев еще неизвестны... не открыты. Не могу думать о них... о неоткрытых... без волнения. Подвиг в крови нашего народа... Если торжественно сказать, тут великая эстафета поколений.— Василий Иванович медленно сложил газету, погладил сгиб худыми, почти прозрачными пальцами и глубоко, несколько затрудненно вздохнул.— Парни, сержант Зиганшин... они выросли после войны. Но мы... живые работники той войны... еще трудимся. И разве не счастье увидеть своими глазами... как передается эстафета мужества... Видишь, ее уж дети наши приняли...

— Я слышу тут целую речь, Вася! — с упреком проговорила Анна Федоровна, неприметно вошедшая в комнату.

Ядринцева выпрямилась и, отвернув манжет, взглянула на часы. Слушая Пахомова, она неотвязно думала о том, что хорошо бы провести беседу в цехе, именно вот в таком плане, и еще думала о Катерине Лавровой... Пора уже уходить, а еще ни слова не сказано об этой женщине, ради которой она пришла сюда.

Но гостью не отпустили. Анна Федоровна сумела деликатно увести ее на кухню, якобы нуждаясь в небольшой помощи. Но на кухне Аполлинария почти безмолвно провела четверть часа, сидя на белой табуретке, вплоть до того момента, когда из разогретой духовки донесся ванильный аромат поспевших коржиков.

Потом они втроем у постели Василия Ивановича пили чай и Аполлинария, стыдясь и негодуя на себя, с волчьим аппетитом поедала теплые, немыслимо вкусные коржики.

И все-таки пора было уходить.

Аполлинария улучила минуту, когда гостеприимная Анна Федоровна вышла с чайником на кухню, и торопливо спросила:

— Ты говорил с Лавровой?

Василий Иванович легонько кивнул головой, видимо еще погруженный в свои мысли.

— Ну и как? Пойдет она в Кремль?

— Пойдет,— ответил Василий Иванович и со странной пристальностью поглядел на Ядринцеву.

Аполлинария едва удержалась от шумного вздоха: теперь можно было спокойно уйти.

Но Василий Иванович не считал разговор оконченным.

— А какая она явится в Кремль? — спросил он, несомненно имея в виду Лаврову.

Аполлинария промолчала, только бесцветные бровки ее чуть дрогнули: главное, чтоб Лаврова пошла и получила свой «Знак Почета», а уж будет ли ей почет иль не будет, покажет время.

Но что ж она услышала от секретаря парткома!

— Катерина Лаврова пролетарка. Если хочешь, из той же породы людей, что и парни эти.

«Из той же породы... баптистка! Изуверка! Камень безгласный!» — мысленно с негодованием возразила Аполлинария: вслух она не решалась спорить с больным. У нее только рот слегка приоткрылся да глаза еще больше округлились, и Василий Иванович невольно припомнил прозвище, каким наградили Ядринцеву заводские озорники: «Филин».

Она безмолвствовала, потерянная или возмущенная. Пахомов, боясь, что сейчас войдет заботливая Аннушка, поспешно проговорил:

— Мы не можем отдать сектантам эту женщину. Не такая она, чтобы ползать на коленях в этой своей секте. Вся ее жизнь — на заводе по крайней мере — в самом вопиющем противоречии с идеологией сектантов... с рабской, понимаешь ли, идеологией. Обстоятельства сложились так, что она дала себя одурманить. Мы должны ей помочь, ну, что ли, разбудить ее.

— Кого разбудить, Вася? — спросила Анна Федоровна, бесшумно отворившая дверь.

— Лаврову, помнишь?..— ответил Пахомов, покорно замолкая.

— Помню,— сказала Анна Федоровна, прочно усаживаясь у изголовья мужа, и прибавила: — Спокойнее, Вася.

«Кто же это разбудит Лаврову?» — тревожно раздумывала Ядринцева. Ей казалось, что Пахомов излишне усложняет вопрос. От неловкости и растерянности она вдруг потянулась к стопке книг, лежавших на столике, перелистнула верхнюю, толстую книгу и словно обожглась — до того резко отдернула руку. Библия на столе у секретаря парткома!

Василий Иванович тихонько засмеялся, усталое лицо Анны Федоровны тотчас же озарилось улыбкой; очень схожими показались их лица Ядринцевой... Она слышала когда-то, что так это и бывает у супругов, проживших долгую жизнь. Но сейчас это ей ни к чему, сейчас ей уйти надо. Однако она и с места не двинется, пока не получит прямых указаний насчет Лавровой.

А Василий Иванович заговорил совсем о другом.

— Это не баптистские стишки... слезливые и неграмотные,— задумчиво сказал он, кинув взгляд на библию.— Должен сказать, книга удивительная. Я, конечно, профан,

но... Подожди, Аннушка, я бы так сказал: придут, может, времена, когда человек... свободный даже от тени религии... прочтет библию как сказку... или как эпос.

Ядринцева встала, загремев стулом: она была близка к отчаянию. Но тут-то и последовали указания, те самые, из-за которых она заявилась к Пахомовым.

— Ты займись с Лавровой сама... я сделал все, что мог,— просто сказал Василий Иванович.— Думаю, женщина скорее и ближе подойдет к женщине, чем наш брат.— Тут он взглянул на жену, и та одобрительно кивнула.

— Что же, поговорить с ней надо? — спросила Ядринцева упавшим голосом.

— Не обязательно. Видишь ли... я не только библией занимался,— Пахомов ободряюще улыбнулся Аполлинарии,— а успел кое-что сделать. К нам на завод пришли десятиклассники... из подшефной школы. Там есть девчушка одна... беленькая такая... она согласилась проходить практику в клепальном.

— И что же? — после недолгого молчания спросила Ядринцева.— Не обучит же девчушка безбожию нашу Лаврову?

— Обучит. Живой жизни обучит, молодостью своей заразит, если хочешь... А безбожие у девчушки естественнейшее.

Говоря это, Василий Иванович не спускал с Ядринцевой внимательных и как бы изучающих глаз.

— А потом не забывай... Лаврова дочку потеряла... И пусть возле нее эта беленькая будет... Ну, неужели нужно объяснять? — Он вздохнул, перевел взгляд на свои руки, лежавшие поверх одеяла.— Ты отбрось все страхи, подойди к Лавровой просто, как человек к человеку. Будь

внимательнее к ней... вернусь, спрошу,— прибавил он в заключение с шутливой угрозой.

Они наконец распрощались, и Ядринцева снова очутилась в переулке, уже ночном и теперь еще более тихом. Пройдя два-три дома, она остановилась в каком-то смутном оцепенении и с недоумением пробормотала: «Как человек к человеку...»

VIII

Катерина все раздумывала о рыжей иностранке и о подлой ее бумажке. Она не однажды говорила себе: «Не протягивала я руку за бумажонкой, не просила, силой мне всунули»,— а на сердце все равно было неспокойно.

Пахомов тоже не выходил из памяти. Нельзя было просто так пройти мимо слов его о том, что доверил бы он Катерине не только клепальщицкое ее дело, но и весь цех доверил бы. Конечно, в споре да в задоре чего только не наговоришь, но сказано-то ведь именно про нее, и от этого еще тяжелее было хранить в секрете ту бумажонку, тяжелее и совестнее...

В оглушающем пулеметном треске пневматических молотков невозможно было расслышать ни одного слова, и Катерина со своей напарницей Степанидой Клочковой работали молча, двигаясь с той строгой ритмичной согласованностью, какая возникает лишь при долгом совместном труде.

Одна как бы дополняла другую с такой необходимостью, что казалось, действовали здесь не два, а один человек и не четыре, а две сильные руки. В иной момент они оказывались так близко друг к другу, что взоры их

невольно встречались. Степанида скуповато и рассеянно улыбалась Катерине и, наверное, дивилась, к чему бы это Катерине каждый раз отводить озабоченные неулыбчивые глаза?

А Катерина как раз и размышляла о Степаниде: сказать ей или не сказать насчет иностранки и всего остального? Степанида не болтлива, и слово у нее крепкое, довериться можно. Она ведь и знает про Катерину больше остальных. И про моления давно уже знает. И молчит: будто бы не осуждает, но и не хвалит, не оправдывает...

И все-таки — друг ей Степанида или вовсе не друг? Разными людьми жили они на свете и только одно умели — в нужную минуту щадить и оберегать друг друга. Разве Степанида не оберегла ее от лишнего слова, а может, и от стыда тогда, на цеховом митинге?

Но какова же Степанида Клочкова сама по себе?

Катерина покосилась на подругу. Та как раз выпрямилась и локтем вытерла пот со лба — рука была занята. Катерина слабо усмехнулась...

Долго она не могла разобраться, понять, на что же Степанида тратила себя, куда устремляла желания, чего добивалась. И лишь постепенно, по малости стала примечать, что неуклюжая ее подруга оживает, только ступив на землю завода.

Катерина, помнится, удивилась: неужели здесь, в цехе, в адском грохоте и пыли, к чему-то прилепилось Степанидино сердце? Умевшая даже в рабочие часы пребывать душою совсем в ином, мысленном и, как ей казалось, светлом мире, Катерина не скоро поверила чудаковатой страсти Степаниды. А это и вправду была страсть, страстный труд, а не простое, бездумное усердие, как у Катерины.

Степанида умела работать с такой жадностью, что давно бы нагнала в смену великие проценты, если б не сдержанность Катерины. И — что еще чуднее и непонятнее — вовсе не заработок прельщал Степаниду (много ль ей надо, одной-то!), а прельщали и мучили бесконечные думки: Степанида изо всех сил тщилась что-то изобрести! Для этого, как она признавалась, ей не хватало образования, а учение, сколько она ни пробовала, не шло. За дюжими, литыми, как у мужика, плечами Степаниды был один лишь долгий и тяжелый опыт — она раньше Катерины пришла сюда и годы проработала на ручной клепке.

Да, опыт и больше ничего. И все-таки Степанида не оставляла свои мучительные думки и все поглядывала на гремучий молоток глазами заботника, бормотала что-то себе под нос, муслила карандаш, черкала на бумажках...

Только однажды Катерина, жалея подругу, решилась ей заметить, к чему, мол, твои бормотания, и получила отпор, неожиданно решительный и даже грубый. Степанида ей сказала:

— Знаю, чего бормочу. Зацепка есть. А у тебя и зацепиться не за что: пустота одна.

При этом она даже кулачищем разрубила воздух, и Катерина, холодея от обиды, поняла, что Степанида намекает на духовные ее мечты. Поняла и замолчала: неверующие люди слепы...

Никогда больше не возникало подобного разговора. Между ними как бы немой договор был заключен: ты не трогай моего сокровенного, а я тебя не трону.

Так вот — дружба это или не дружба? Но тогда, значит, нет у Катерины друга в мире. Тетю Полю ведь не спросишь ни о чем земном, ну хотя бы о проклятой бумажон-

ке: не от молитвы идет та листовка, а от земного, суетного, грубого расчета...

Катерина так ничего и не успела решить, когда в цехе заметно стал стихать гул. Она взглянула на часы: начинался обеденный перерыв.

Обе клепальщицы, как обычно, вместе направились было в столовую, но Катерину остановил старый мастер.

— Лаврова, ступай в цехком,— сказал он.— Там ждут тебя.

Катерина повернула обратно к корпусу заводоуправления.

— Я тебе хоть котлеты закажу! — крикнула ей вслед Степанида.

Катерина только рукой махнула: какие уж там котлеты!

В цехкоме возле стола, за которым бесстрастно восседала носатая председательша, притулилась девчоночка, до того беловолосая, что Катерина невольно подумала: «Крашеная! Вот пуговица!»

Ядринцева поднялась навстречу Катерине. Неторопливо встала со стула и девочка.

— Знакомься, Катерина Степановна,— сказала председательша, представляя девочку.— Зоя Степанова, десятиклассница из подшефной школы. На практику назначена к вам с Клочковой.

— На практику? — изумленно повторила Катерина, держа в своей широкой ладони тоненькую руку Зои.

Она с головы до ног оглядывала будущую ученицу. Одежда на девочке была не по росту — шубейка, а под нею школьная форма мешковато болтались на плечах, вытертые лыжные штаны явно сползали, и все это вместе, и еще удивительные льняные волосы (не крашеные,

а природные) как-то по-особенному жалостно подчеркивали худобу и ребяческую хрупкость ее фигурки. «Мала, худа... цыпленок ощипанный...— тревожно думала Катерина.— Куда ей в наш цех! Вон и ножонки криво держит, боится, что ли? А о н и - т о... ко мне поставили. Нарочно, поди. Теперь замучают разными выдумками...»

— Ты что же... Зоя Степанова... наш-то цех выбрала? — спросила Катерина, заметно затрудняясь в выборе слов.— Тяжело у нас.

Но «цыпленок», как видно, был не из пугливых. Поправив шарф, съехавший на затылок, она ответила со спокойной обстоятельностью:

— А я не выбирала. Мне ваш партком предложил. Я ведь комсомолка.— Она вздохнула и, переступив с ноги на ногу, добавила: — За других-то, правда, папы-мамы хлопотали, куда бы полегче да почище...

— А ты... а за тебя...— Катерина так и не нашла слов для самого обычного вопроса, она уже догадывалась, и в больших глазах ее мелькнуло что-то вроде страдальческого испуга.

Тут даже Ядринцева насторожилась, только сама Зоя оставалась невозмутимой.

— Я безматеринская с двух лет,— объяснила она, прямо взглянув на Катерину своими голубыми, в светлых ресничках глазами: ей, конечно, не в первый раз приходилось говорить об этом, и она привыкла.— Из детдома. Теперь-то в школьном интернате живу. Получу аттестат и, наверно, прямо в заводское общежитие переберусь. Так что мне сразу профессию приходится выбирать, не поломаешься.

— Сколько же лет тебе? — не сразу глуховато спросила Катерина.

— Уж восемнадцатый,— ответила Зоя и почему-то улыбнулась: на обеих щеках у нее обозначились нежные ямочки.

«Чего тянет,— с неудовольствием подумала Ядринцева о Катерине,— назначила бы час, показала рабочее место — и до свиданья!» Но она попросту кривила душой, Аполлинария Ядринцева, сама себя обманывала. Вот всегда так: едва начнет перед нею или хотя бы на ее глазах приоткрываться человек, как она пугается и уходит в себя, словно улитка в раковину: страдайте, мол, радуйтесь, тревожьтесь, только, пожалуйста, меня увольте!

А Катерина и в самом деле растревожилась, худые скулы ее пылали, стала она смятенной и красивой. Она долго молчала, стоя перед улыбающейся девчонкой, потом, жадно глотнув воздух, взяла Зою за руку:

— Пойдем, цех покажу и наше с тобой место. Завтра придешь?

— Нет, послезавтра. Завтра пионерский сбор у меня,— ответила Зоя тонким голоском.— Нам сказали: только после уроков практикуйтесь, кто по-серьезному хочет. Выходит, во вторую вашу смену.

— Я как раз днем сейчас и работаю.

— А потом? Я ведь только и могу во вторую смену.

«Ишь ты, еще условия ставит!» — осудительно подумала Ядринцева. И тут жиденькие ее бровки изумленно полезли на лоб — Катерина, эта неподатливая, «каменная» женщина, ответила:

— Ну что же, и дальше на вторую обменяюсь. Приходи как можешь.

— Ладно,— солидно согласилась девчонка, и обе наконец скрылись из глаз.

Дверь конечно же осталась незатворенной.

Ядринцева встала, устранила непорядок и, оставшись одна в тихой, сразу как бы онемевшей комнате, посидела, бесцельно уставившись в пространство рассеянным, чуть грустным взглядом. Затем привычно склонилась над бумагами.

Времени на обед у Катерины не осталось, и она, проводив Зою из цеха, стояла и смотрела вслед девушке с томительным ощущением тревожного ожидания: вот пришел к ней молоденький человечек — обучай его клепальщицкому ремеслу. А все, наверно, Пахомов придумал, его это дело...

Цех уже наполнялся людьми, явилась и Степанида. Она сразу же сунула в руки Катерине бумажный сверток с чем-то теплым и спросила:

— Зачем звали тебя? А ты ешь, это биточки.

— Спасибо,— ответила Катерина, но свертка так и не раскрыла, а поспешила рассказать Степаниде об ученице Зое Степановой — до конца перерыва оставались считанные минуты.

На губастом, грубо отесанном лице Степаниды не отразилось никакого волнения.

— Ну и пускай, значит, так надо,— ответила она даже с некоторой рассеянностью.

Последние ее слова потонули в шуме: цех начал работать.

«Может, оно и так,— раздумывала Катерина, привычно сжимая трясучий молоток.— Чего это я разбередилась? Ученица, и все тут. Только чему учить-то? Силы в плечах хватит, удержишь инструмент, уши не разорвет — вот уж и работница...»

Они больше не говорили со Степанидой о девчонке, но — странное дело! — Катерина не переставала думать о ней, и Зоя вставала перед ней в своем великоватом, обтершемся пальтишке, в лыжных штанах, в шарфе, то и дело съезжавшем с белых пушистых волос.

«Цыпленок... Одна во всем свете, как есть, белая пушинка на ветру...» Напрасно Катерина отгоняла эту мысль, говоря себе: мало ли на улице сирот ходит, разве всех призришь, согреешь,— Зоя не уходила из памяти. Где-то она росла, училась, с кем-то делила кусок хлеба, заботы и радости, смех и слезы. А дожив до назначенного часа-минуты, пришла и встала перед Катериной: вот я, бери меня к себе...

На другой день, работая, Катерина поймала себя на том, что ждет Зою и... страшится, что девушка не появится больше на заводе: могла ведь передумать, дело ее молодое, почти еще ребячье!

Когда смена отгрохотала и они со Степанидой, одевшись, шли к проходной по заводскому двору, Катерина нерешительно сказала:

— Возьмет да еще и не придет, Зоя-то.

Степанида не сразу отозвалась — она, может, успела забыть об ученице?

— А-а, эта... Что с нее спросишь? Глянет разок, зажмет уши да и зальется... к мамке.

— Некуда ей залиться,— что-то очень уж сурово возразила Катерина.— Без мамки она.

— Ну-у? — протянула Степанида и пытливо поглядела на Катерину, не сиротству неизвестной Зои удивляясь, а той надтреснутой глушинке, какая слышна была в голосе подруги.

Но Катерина, словно не желая, чтобы Степанида до-

гадалась о ее подспудной тревоге, торопливо проговорила:

— Она только во вторую смену может ходить... ученица наша. Я у тебя, Паня, не спросилась, да думаю, ты согласишься: я ей обещалась и ту неделю во вторую смену работать.

— Это ты для нее же? — с возрастающим изумлением спросила Степанида и даже приостановилась.

— Да,— коротко ответила Катерина.

Степанида притихла и молчала до самых ворот, поглядывая искоса, с высоты своего громадного роста, на «чудившую» подругу. Катерина как раз не любила дневных смен, из-за них не попадала на свои моления. А тут, гляди-ка, на две недели сама себя приговорила...

У ворот Степанида остановилась и спросила с необычной для нее трудной заминкой:

— А как же... туда-то... иль не пойдешь?

«Куда?» — едва не спросила Катерина, но вовремя губы прикусила. Щеки обожгло ей горючим жаром. И правда, как же это она? Неужели позабыть могла?

Молча стояла она перед дюжей подругой и только голову опустила, как провинившаяся.

— Пойдем уж,— снисходительно прогудела над ней Степанида и даже за руку взяла.

IX

Страхи Катерины оказались напрасными: в назначенный день и час Зоя появилась в цехе, поздоровалась с Катериной, протянула с вежливой улыбкой руку Степаниде, потом вынула из авоськи спецовку,

надела ее и туго перепоясалась: спецовка была и длинна и широка.

Катерина глядела на девочку молча, как-то даже робко и ничего не объясняла, теряя последние минуты. Тогда Степанида, шумно вздохнув, сказала:

— Вот тут встанешь, чтобы нам не мешаться. Гляди. Больше на меня гляди — на подручного будешь учиться.

Степанида вопросительно взглянула на Катерину, и та, словно очнувшись, согласливо кивнула головой.

— «Разговор» наш привыкай понимать,— продолжила свои объяснения Степанида.— Тут не слышно ничего, хоть надорвись. Где головой мотнешь, где глазами покажешь, а больше на пальцах. Приглядывайся, грамота невелика. Грома нашего не забоишься?

— Не забоюсь,— спокойно ответила Зоя.

Так начался их рабочий день — привычный для обеих клепальщиц и во всем новый и еще непонятный для Зои.

То Катерина, то Степанида, улучив минуту, обертывались и каждый раз встречали внимательный до жадности и почему-то сияющий взгляд голубых Зоиных глаз. И каждый раз — Степанида, конечно, не знала об этом и не догадывалась — у Катерины почему-то замирало сердце.

Так проработали они до обеда, а когда шум стих, Зоя набросилась на обеих женщин с вопросами, с великим множеством вопросов. Отвечала одна Степанида — это было по ее части.

Катерина же заставила Зою потуже заплести ее белые косы и повязать косынку, чтобы челка не лезла на глаза. Косынку она отдала свою, старенькую, с выцветшими разводами. Зоя уставилась на простоволосую Катерину,

на тяжелый пучок темных волос, словно оттягивающий ей голову, и вдруг сказала:

— Вы красивая, тетя Катенька. Можно вас так называть? Никогда не повязывайтесь.

Катерина даже отшатнулась от нее.

— Что ты, что ты... («Красивая»... это она-то, старуха... давно уж забыла... смешно!») У нас нельзя без косынки, растреплешься... ведьмой станешь.

Зоя беспечно расхохоталась, а Катерина хмуро сжала губы: уж и ведьма на язык выскочила, долго ли!

Только в конце обеда она задала Зое осторожный вопрос:

— Думаешь к нам прилепиться?

— Думаю, — быстро и серьезно ответила Зоя.

И выложила свои доводы, отнюдь не шуточные, не ребячьи. Работа трудна, но где же ее найдешь, легкую? И некогда ей искать, перебирать: встанет на зарплату, уже умелая, с разрядом, и сразу надо будет как-то обуться-одеться. Ведь у ней и лычки своей нет.

Все это было до горечи понятно Катерине... Где-то втайне шевельнулась мысль: помочь надо бы девчонке.

Так они и проработали эту неделю — втроем. Только Зоя теперь уже не просто смотрела, а понемногу стала помогать и пыталась даже встать на место Степаниды. В деле девчушка оказалась не такой уж хрупкой и слабенькой, двигалась уверенно, плечи не по-ребячьи были у нее развернуты и для ее роста даже широковаты.

— Хваткая,— сказала как-то про нее скупая на похвалы Степанида.

— Самостоятельная, — подтвердила похвалу Катерина. Потом, помолчав, добавила тихим и даже расслаб-

ленным голосом: — А так она, что же... дитя еще. Мамка, говорит, меня Зайкой звала: Зойка-Зайка. Да только, говорит, сама-то я не помню, дура еще была. Эх, Паня!

Степанида покачала головой.

— Вот видишь. Ты не бойся ее под крыло взять. Не хорони себя, Катя, раньше сроку.

Катерина пробормотала особенным, однотонным голосом, какой появлялся у нее, как только она заговаривала о своих «духовных» делах:

— Сироту призрить — тоже ведь Христова заповедь.

Степанида, десятки раз слышавшая этот особенный, какой-то обескровленный голос Катерины, вдруг словно взбесилась. Побагровев до ушей, она грозно поднялась над Катериной и сказала, ткнув кулачищем в стол так, что тарелки звенькнули (разговор у них, по обыкновению, происходил в столовой):

— Ну уж нет. Здесь она тебе нужна, девчонка. Здесь, на земле, а не там.

Катерина молчала, и Степанида впервые за долгие годы их скупой дружбы не почуяла в этом молчании обычного затаенного упрямства, а только потерянность и, может, трудную му́ку раздумья...

Как бы там ни было, а Степанида делала что могла — старательно передавала Зое рабочее умение и попутно приглядывалась к своей напарнице.

За эту неделю в Катерине и следа не осталось от постоянного, вроде бы мечтательного равнодушия и обыденной скуки. Лицо у нее часто озарялось легким, пожалуй, даже счастливым светом, и — удивительно — этот свет, эта улыбка всякий раз словно солнечный зайчик перепархивала на худое, нежное лицо Зои.

Степанида уже не сомневалась, что не призрение во

имя Христа, а непреодолимая сила земных чувств притягивает Катерину к девочке.

Так оно и было на самом деле.

Зоя, сама того не подозревая, с каждым днем все большее и большее место отвоевывала в жизни Катерины.

В этой молоденькой девушке, почти девочке, отчетливо и постоянно ощущался стальной стерженек упорства. Не ребячьего капризного упрямства, а именно упорства.

Катерине невольно думалось: выросла девчонка, не зная родительской ласки, средь пестрой и шумной оравы детдомовских сверстников, вот и пришлось ей поневоле стать самостоятельной с малых лет. И не только самостоятельной, но и неизменно готовой к обороне от более сильных ребят, от нелюбимого педагога, от строгой няньки, в которой, конечно, не было, да и не могло быть ничего схожего с домашней, уютной бабкой-сказочницей.

«Я в детдоме выросла» — в этих слова, произносимых Зоей как будто обычным, равнодушным тоном, чудилась скрытая нотка горечи.

Девочка не напрашивалась на какое-то сочувствие или, тем более, на ласку, но стоило ей улыбнуться самым безмятежным образом или, наоборот, затревожиться и помрачнеть, как в то же мгновение Катерину будто током в грудь ударяло. И если б она не отводила от себя «опасные» мысли, не мучилась всяческими страхами и сомнениями, следовало бы уж признаться, что ее захлестывает тяжелая волна жалости к Зое.

Девочка все неотвратимей пробивалась к ее сердцу, как маленький ручей пробивается через всякие коряжины и перекаты, чтобы, в конце концов, достигнув большой реки, безраздельно с нею слиться...

В последний день недели, в субботу, получилось так, что Степанида сразу заспешила домой, а Катерине с Зоей торопиться было некуда, и они засиделись в столовой. Тут между ними и вышел серьезный разговор.

Катерина, все еще державшая про себя боязливую думку, как бы девчушка не ушла из клепального цеха, еще раз спросила, останется ли Зоя на заводе или, получив аттестат, будет в институт подаваться?

— Нет, на заводе останусь,— спокойно, как о вопросе давно решенном, ответила Зоя. И добавила: — На той неделе пойду в комитет комсомола.

Разговор на этом не прервался. Зоя отставила свою тарелку и некоторое время молча, с застенчивой улыбкой наблюдала, с какой степенной неторопливостью хлебает Катерина невкусный суп.

— Понимаете, тетя Катенька... разряд, зарплата, платья — это только одна сторона вопроса,— сказала она и запнулась, а далее заговорила уже с некоторым усилием и даже светлые бровки наморщила: — Лично вот я... Ну, конечно, научусь инструмент держать, клепать деталь. И каждый день, значит, одно и то же.— Она вздохнула, уткнулась подбородком в сцепленные ладони.— Одно и то же: трясись да знаками объясняйся, будто глухонемая. И всё.

— Понятное дело, всё.

Катерина усмехнулась и подумала: «Это дело и не так еще очертеет тебе, девка... неделю только и протряслась!»

Но тут же спохватилась — что же это, все ведьмы да черти на язык лезут!

Она хотела было ответить Зое — работай, мол, терпи! Но Зоя опередила ее:

— Нет! — звонко сказала она, выпрямляясь.— Я не хочу просто так работать.

— Просто так? — тихо повторила Катерина.— А как же еще?

— Ну... лошадь ведь тоже работает! — сказала Зоя. Она схватила ложку и прочертила на скатерти какую-то загогулину.— Лошадь тоже зарабатывает свой хлеб. И даже ревматизмом болеет. Тянет, тянет, пока не упадет... Быдло, одним словом.— Она подняла на Катерину твердо блеснувшие глаза.— А я не хочу. С молодых лет себе позволить... Нет, не хочу и не буду быдлом жить.

Тут она до ушей залилась нежным румянцем и мягко спросила:

— Непонятно, да?

— Непонятно,— не сразу ответила Катерина.

Она в самом деле только одно поняла: о чем-то нешуточном раздумывает девчонка и боится растерять это нешуточное в словах слишком обыкновенных. И торопить ее нельзя, никак нельзя.

Им принесли жаркое, Зоя рассеянно потыкала вилкой в ломтик печенки и сказала, не подымая глаз:

— Не просто так надо работать, а думать... И любить. Иначе нельзя.

— Любить?

Катерина в смятении даже губы прикусила: убежит! Убежит со своими фантазиями!

И перед глазами ее мгновенно встала картина пыльного, грохочущего цеха, руки как бы ощутили чугунную тяжесть молотка, плечи привычно заныли от лихорадочной, нутро выворачивающей тряски. Да тут не только ревматизм скручивает, глухота настигает, а и нервы расшатываются хуже, чем от болезни... Любить! За одно

только терпение клепальщикам награды давать надо, а где уж тут любовь найти?

— Все равно, иначе нельзя,— настойчиво и словно отвечая Катерине, повторила Зоя.— Я, тетя Катенька, в прошлом году еще глядела, как работают разнорабочие,— у нас в интернате новый корпус ставили. «Разнора-ботницы» — девушки молодые, а ходят с носилками нога за ногу, будто паралитики какие. И все время присаживаются, судачат. Я не вытерпела, спросила. «А чего нам надрываться, говорят, платят все равно аккордно, да и маловато. Работа, говорят, сама не понужает». Надо, чтобы понужала.

Она отодвинула тарелку, так и не тронув жаркого. Катерина уже справилась со своим блюдом и аккуратно собирала корочкой хлеба полуостывший соус.

— Ешь,— строго велела она Зое,— блинов не подадут.

Зоя послушно разрезала печенку, набила полный рот и, кое-как прожевав, спросила Катерину, которая почему-то отмалчивалась:

— А что, разве не над чем думать?

— Ты бы Степаниде это все сказала,— пробормотала Катерина.

— Что? — не поняла Зоя.

Но Катерина промолчала, и тогда девочка выложила, должно быть, самое заветное, самое неоспоримое из того, что приготовила для тети Катеньки:

— Вам-то орден дали, наверное, за то, что вы работаете не «просто так»?

Катерина вдруг поперхнулась и, вместо того чтобы покраснеть, вдруг побелела. И глаз не сумела поднять.

«Да знаешь ли ты, как орден мне достался? — хотелось

закричать ей.— Дали, да еще не получила... И, может, не получу!»

Но она сдержалась и только сказала:

— Пошли, засиделись.

И уже на пороге столовой добавила:

— Может, и дело ты надумала... Не знаю, сама не пробовала. Разве только в те вот годы. Ну, да ведь когда это было, ты еще и на свет не родилась.

Катерина засмеялась, и смех у нее получился коротенький и странный: в нем словно боль прозвенела.

А в понедельник, когда все трое — клепальщицы и их ученица — явились в цех на дневную смену, Катерина, услав Зою к «комсомолам», наскоро пересказала Степаниде субботний разговор.

От себя она прибавила с невеселым, можно даже сказать, вымученным смешком, что-де не обломалась еще девчонка и, наверное, чужие слова повторяет или, может, с книжек сняла. Вот и Пахомов то же говорил.

И даже упрекнул ее, Катерину, Пахомов, что считает она труд греховной обузой, проклятием человеку от бога. Отсюда, дескать, и старание у сектантов холодное. И любят они в труде только себя, только о своем спасении думают.

Как тогда она оскорбилась! Да может ли себя любить верующая тварь Христова, дни и ночи отрекающаяся от плоти своей и от земных услад?

Оскорбилась, отбросила от себя, как клевету отбрасывают, и забыла. Но вдруг ребячьи уста Зои повторили те же почти слова... Как же это понять?

Выслушав сбивчивый рассказ Катерины, Степанида рассудительно сказала:

— Удивительного нет. Не одна Зоя так-то думает. Хо-

тя бы и с чужого голосу говорит, а дела это не меняет. Я такого же мнения: работать так уж работать — и руками и головой.

Катерина вздохнула, отвела глаза.

— Не зеришь, — пробурчала Степанида. — Постой. А ты ведь слышала насчет четырех солдат, которые на барже плавали?

— Слышала.

— Ну? Сорок девять дней и сорок девять ночей гибели ждали...

— В святом писании потоп описывается,— вставила Катерина монотонным, «святым» голосом.— Там тоже сорок дней и сорок ночей...

— Потоп тот еще был или нет,— возразила Степанида, распаляясь.— А тут не сказка, тут быль. И что, ты думаешь, парнишки делали? Надеялись и работали...

— Как это? — несколько вяло спросила Катерина.

— А так. Самую тяжелую работу работали,— решительно повторила Степанида.— Ведь просто выжить на той барже — и то труд великий. А они еще и службу несли... Кто же видел их там, кто им приказывал? Только ихняя совесть приказывала. А ты — потоп. Понятно тебе?

Она подождала, что ответит подруга, но та безмолвствовала; похоже, на все пуговички застегнулась.

— Эх, Катерина! — сокрушенно пробубнила Степанида. И, почти уже не веря, что сумеет хоть чем-то задеть, расшевелить подругу, спросила:— А про депо Москва-Сортировочная в газетах писали... Поди, тоже не знаешь?

И в двух словах, накоротке, Степанида рассказала о первой бригаде коммунистического труда.

— Видать, такое движение начнется,— прибавила она.— Наши клепальщики уж поговаривают.

— Наши? — громко переспросила Катерина, и в больших глазах ее словно тень прошла.— Ну, тогда мне сказать придется — верующая я.

Степанида только головой качнула, не то в подтверждение, не то в осуждение.

X

Опять предстояла одинокая ночь,— Катерина вдруг забоялась тягостной тишины в доме и возбужденных своих мыслей. Если б нынче было собрание, она бы пошла в моленный дом. Но собрание — завтра. Как раз и работает она с утра: вечер, значит, свободен. «Пойду»,— вслух сказала себе Катерина. И еще раз повторила «пойду», потому что уже понимала: не пойдет она, не пойдет в молитвенный дом!

Словно бы глыба вставала перед ней, преграждая дорогу туда...

Там, наверное, уже заметили ее нерадивость, это быстро замечают. Стало быть, не миновать ей расспросов. А может и так случиться, что призовут к ответу. Катерина слабо усмехнулась: нет, она не из трусливых, ответить готова.

Но в чем же ее могут обвинить? Не касается же она ни веры, ни святого имени Христа: то неприкосновенно, как неприкосновенно сердце,— его ведь только через кровь остановишь. Что из того, что не ходит она, Катерина Лаврова, на моленья? Может ведь человек заболеть и не две недели, а два-три месяца не ходить в моленный дом.

«Трусишь!» — жестко сказала она себе и остановилась. Куда же это она,— шла к вокзалу, а забрела в другую сторону!

Неширокий этот переулок знаком ей до последней щербинки на тротуаре: когда-то она бегала сюда, в заводское общежитие, к подружкам, к Степаниде. Случалось, и ночевала здесь в тревожную военную ночь...

Вот он, невысокий дом, с двумя парадными крылечками и узенькими террасочками. Но Степаниды уже там нет: давно получила она отдельную комнату и живет сама по себе.

Катерина стояла и смотрела на террасочки со странным чувством смутной жалости к себе: молодая она в ту пору была, все ждала весточки с фронта. И не дождалась письма от Григория, а получила похоронную... Да, похоронную. Получила, и всё. И ничего из того времени не вернешь.

«Зачем же я здесь стою!» — говорила она себе, но с места сдвинуться не могла, словно вросли ноги в каменную мостовую.

И тут из-за угла вдруг вывернулась Зоя. Она стрелой пронеслась через мостовую и юркнула в парадное. Катерину будто горячим ветром опахнуло: Зоя еще вчера сказала, что Пахомов устроил ее в заводское общежитие. Значит, она, Катерина, недаром забрела в знакомый переулок. Зою, именно Зою хотелось ей повидать. Разбередила, растревожила ее эта девчушка, поэтому так и страшила одинокая ночь в притихшем доме, где никто с ней слова не промолвит, никто ни о чем не спросит.

Она еще не знала, о чем будет говорить с Зоей, а уже подходила к парадному крыльцу с выщербленными, памятными ступеньками.

«Спрошу, как устроилась»,— решила она, войдя в длинный, слабо освещенный коридор. И тут остановилась, чтобы немного передохнуть.

Уже добрый десяток лет не бывала она нигде, кроме молитвенного дома и еще комнатушки тети Поли, а вот взяла да и нарушила печальный, но угодный богу обет одиночества. Это беленькая Зойка наставила ее на суету, на грех непонятный!

Катерина приотворила дверь крайней комнаты и сразу же увидела Зойкин рыжий чемоданишко, косо брошённый на раскладушку. В комнате никого не было. У боковых стенок, справа и слева, изголовьем к окнам стояли койки. Около них прочно, по-обжитому громоздились тумбочки. А Зойкина старенькая раскладушка торчала возле самой двери. И тумбочки здесь не было — на проходе она бы не уместилась. «Лишней приткнулась...» — подумала Катерина, и сердце у нее заныло.

Но Зойка, как видно, не унывала: в комнату она влетела с полотенцем через плечо и распевая во все горло.

— Тетя Ка... Катенька! — крикнула она, заикаясь и нежно розовея от изумленья, а может, от радости.

Полотенце упало на раскладушку, а сама Зойка кинулась к столу и с лету подхватила крашеную табуретку.

— Вы садитесь... садитесь! Вот хорошо-то! — быстро тараторила она, старательно вытирая сиденье табуретки длинным рукавом спецовки.

— Пришла вот поглядеть, как ты тут...— сказала Катерина, неторопливо усаживаясь.

В голосе ее явственно прозвучало смущение, но Зоя ничего не заметила. Она метнулась в тот угол, где пышно топорщилась чужая постель, постояла над никелированным чайником, устрашающе поблескивающим на тумбочке, и, поколебавшись, махнула рукой:

— Пойду лучше к девочкам... призайму чайничка. Я сейчас.

Она проскочила было мимо Катерины, но та успела схватить ее за рукав:

— Ты сядь, сядь! Расскажи, с кем тут живешь. Не притесняют тебя?

— Еще чего? — с задорным вызовом ответила Зоя и засмеялась.— Не хотелось им в компанию меня принимать, ну да пришлось.

Возле рта у нее прорезалась и мгновенно исчезла горькая складочка.

И с тем же как будто беззаботным смехом девочка принялась рассказывать о соседках.

Обе работают в сборочном цехе. Одна, у которой кровать застелена толстым сатиновым одеялом, последний год работает, до пенсии дотягивает.

— Вовсе бабка,— Зоя взмахнула рукой, или, вернее, длинным рукавом, и добавила, чуть скривив губы: — Религиозная, под подушками у нее иконки, тетя Катенька. И все-то она шепчет, все шепчет... Прямо умора!

Катерина опустила глаза, лицо у нее закаменело. И Зоя, почуяв, верно, что-то неладное, тоже примолкла.

— Рукава-то что же не ушьешь,— с заметным затруднением сказала Катерина: голос у нее прозвучал до странности ровно.

— Обрежу, и всё,— ответила Зоя и сбросила спецовку, оставшись в одном пестреньком платьишке.

— Подшить надо,— наставительно сказала Катерина.

Помолчав, прибавила насчет бабки:

— Значит, на доску крестится?

— Вот, вот, доске молится! — живо защебетала Зоя.— А за доской что? Пустота одна. Даже глупо!

Только тут Катерина взглянула на девчонку и тихо, вроде бы нехотя сказала:

— У каждого своя вера.

Зоя поняла эти слова по-своему.

— Лучше сказать — не «вера», а убеждения! — поправила она собеседницу, и в звонком ее голосе опять, как и в памятном разговоре о «быдле», послышались непреклонные нотки.

И опять Катерине почудилось, что есть в этой девчушке, в этом вихрастом, неустроенном птенце, что-то твердое, отстоявшееся, может быть выстраданное.

— Ну а вторая... как она-то?

Зоя покосилась на угол с тощей постелью, над которой весь простенок был густо улеплен открытками.

— Тоже — старая! — ответила она. И с неосторожной поспешностью прибавила: — Ей уже тридцать лет. По вечерам мажется, румянится и в кино уходит. По два сеанса сидит, потом рассказывает до полночи длиннющую тяготину. А еще на электричке ездит...— Зоя фыркнула. — То с одного вокзала поедет, то с другого. А куда ездит? Да никуда. Выйдет с поезда и в лес. Потом, как вернется, приключения рассказывает. Будто к ней приставал кто-то. Один раз скажет... с бородкой, другой раз придумает усатого. — Зоя оглянулась на дверь и доверительно добавила:— Старуха говорит — враки это, выдумывает бабочка.

— В глаза говорит? — поинтересовалась Катерина и, не дожидаясь ответа, раздумчиво заметила: — Ну и зря. Хотя, наверное, та и впрямь выдумывает.

Сказав это, она замолчала: ей понятны были тоскливые метанья тридцатилетней «старухи». Она сама осталась в войну молоденькой вдовою, да и на чужое горе насмотрелась досыта. Сколько их было вокруг, молодых вдов! Эта «старуха», правда, молода была для тогдаш-

него горя. Но ведь и без войны девушка может остаться в перестарках: на белом свете это во всякие времена бывало. А девушка-перестарок, случается, впадает в разные чудачества. То собачницей, то кошатницей заделается, чтобы было кому отдать неутоленную ласку. А то возьмет да и начнет вот так ездить в никуда, чтобы хоть в мечтаньях изведать желанную жуть «преследования»...

Но Зоины сожительницы не очень-то занимали Катерину. Важнее было то, что девочка нежеланным чужаком вошла в эту комнату.

«Безгнездовая с пеленок, негде ей притулиться,— опечаленно думала Катерина.— И когда еще свой угол будет, да и будет ли?»

Искоса поглядывала она на Зою. Та сидела на своей раскладушке, лохматенькая и озабоченная: не знала, верно, чем объяснить внезапную хмурость «тети Катеньки».

«Прилепилась ко мне девчонка, а я-то...» — мелькнуло у Катерины, и тут же отчаянная мысль или, может, отчаянное желание захлестнуло ее: взять Зою за руку и увезти к себе.

У нее даже рот приоткрылся, словно в нестерпимой жажде. Но она так и не произнесла ни слова, а только облизнула сухие губы и отвернулась. Легко сказать: поедем со мною. Надо еще Василия спросить, в таком деле его не обойдешь — муж как-никак. Да и самой не будет ли еще тяжелей — дочку ведь никем не заменишь. И опять же... моления. Вызнает Зоя, что она на моленья ездит, и тогда... Что тогда? Заплачет девчушка или просмеет ее насквозь? Вот ведь напасть: куда ни сунься, всюду узлы да путаница. И как же дорого стала обхо-

диться ей каждая встреча с человеком, с живой, земной судьбою — отвыкла она от людей, задичала в своем одиночестве...

Катерина тряхнула головой и не очень внятно сказала:

— Ты на меня не гляди. Это я так... задумалась. Рассказывай, рассказывай, как тут живешь.

— Так и живу,— обрадованно затараторила девчушка.— Здесь сплю только, а больше у девчонок. Ихняя комната как раз напротив. Ничего, хорошие девчонки. Одна замуж собирается.— Она лукаво улыбнулась и вспыхнула.— Я на ее койку целюсь. Как уйдет, я ее койку сразу займу.

— Это бы хорошо. Девчонки тебе вровню! — облегченно произнесла Катерина и с досадой подумала: «Качается у нас разговор туда-сюда!»

Она на себя досадовала: не хватало ей Степанидиной решительности, не осмеливалась она прямо заговорить о том, ради чего пришла сюда. А пришла она — это только теперь стало понятно,— чтобы вернуть Зою к субботнему их спору в заводской столовой. Слова Зои насчет «быдла» растревожили ее. Это она-то — «быдло»? Конечно, Зоя не о ней говорила, но Пахомов ведь прямо в глаза ей выпалил: «Старание ваше холодное...» И Степанида тоже: она уж и вовсе какими-то особенными, вроде бы «святыми» бригадами угрозила! Нет, тут не отмолчишься...

Катерина опустила глаза на свои руки, сложенные на коленях, и спросила с запинкой:

— А ты этим своим подружкам говорила, чтобы вот так работать... ну, чтобы с любовью?

— Да,— быстро ответила Зоя и улыбнулась.— Вчера

поспорили. И сегодня поспорим,— добавила она с запальчивым азартом.

Вскочив с раскладушки, она щелкнула замками чемоданчика, выхватила оттуда газету и с вызовом произнесла:

— Я вот заповедями запаслась!

— Чем, чем запаслась? — встревоженно спросила Катерина.

— «Заповедями коммунистического труда...» — звонко и даже горделиво воскликнула Зоя.— Вы читали, тетя Катенька?

Катерина затрясла головой — «нет, нет, не читала».

— Тогда слушайте! — властно сказала Зоя.

Она развернула газету, и Катерина смятенно подумала, что у себя дома она только застилает газетами кухонные полки, не глядя даже на картинки...

— «Не отказываться ни от какой работы, выгодная она или нет, тяжелая или легкая!» — со старательной отчетливостью прочитала Зоя и вскинула голову.

— А я и не отказываюсь,— сказала Катерина, словно оправдываясь.— У нас легкой не бывает...

— И вот дальше,— нетерпеливо прервала ее Зоя. — «...Относиться к труду, как к потребности и радости...» И еще: «...Думать, как лучше выполнить работу, творчески, с мыслью, а не механически».

Зоя опять вскинулась, и в глазах ее блеснуло торжествующее лукавство:

— Правда ведь, тетя Катенька, в точности как я тогда говорила? Верно?

— Верно, верно,— отозвалась Катерина и, сдвинув темные брови, попросила: — Читай дальше.

— «Бригада должна жить по правилу... — Зоя поста-

вила торчком указательный палец.— ...жить по правилу: один за всех, все за одного!»

Катерина не сумела скрыть ни изумления, ни растерянности: подумать только,— «заповеди»! И твердо так написано: «должна жить»! Будто на заводе можно жить, а не только работать...

Теперь она не пропускала ни единого слова, а иные строчки заставляла повторять дважды, разрумянившееся лицо ее стало тревожным и красивым.

Оказывается, в новых особенных бригадах люди всем скопом отвечают за лодырей, за прогулы, за брак. Мало того: все в этих бригадах учатся. И опять схоже с настоящими заповедями и святыми заветами: не груби, не сквернословь, не пьянствуй, уважай старость... «Обидели на твоих глазах человека — ты виноват...»

— Закон рабочей чести,— сказала Зоя. Она произнесла это с некоторой суровостью, однако глаза ее сияли.— Вот про это я и говорила. И, наверно, не одна я так думала,— с важностью прибавила она и, сложив газету, тряхнула светлой гривкой.— Пусть-ка теперь поспорят.

Катерина ничего не сказала, а только глянула в тот угол, где жила молитвенная бабка.

— Как же вот с такими? — спросила она, с усилием разжимая губы.— Ну, которые с иконками... С них-то, наверно, спросят?

Зоя перевела быстрый взор на пышную бабкину постель и озабоченно промолчала. Вся важность с нее слетела: она не знала, как ответить тете Катеньке.

В самом деле, может ли верующий быть членом в коммунистической бригаде?

— Н-ну, много ли их? — нерешительно протянула она.

— Люди разные живут,— возразила Катерина и накрепко замолчала.

Зоя спрятала газету в чемоданчик, медленно щелкнула замком. Она явно недоумевала: с чего бы тете Катеньке заботиться о неизвестной ей, совсем чужой бабке?

Осторожно поерзав на раскладушке, она пододвинулась к Катерине и, заглядывая в хмурое лицо ее, заговорщицки шепнула:

— Сама втискалась в свои иконки, сама пусть и расхлебывает. Нам-то что горевать, а?

В худеньком лице девчушки Катерина прочитала столько заботы, столько желания утешить и успокоить, что сердце у нее ослабело, «растопилось», как она подумала. Положив свою большую и сильную руку на Зоино плечо, она ласково качнула ее и согласливо пробормотала:

— Пусть расхлебывает.

Потом уже почти не слушала Зоиного щебетанья, а только смотрела на нее, не замечая и не зная, что глаза ее блестят от слез.

Но на душе все же полегче стало, и на прощанье она даже улыбнулась девчушке. Та схватила было свое пальтишко — проводить гостью... Катерина решительно ее остановила.

На улицу она вышла одна, чтобы никто не мешал ей, когда, шагая по булыжной мостовой, станет она думать о том, что ждет ее и как придется ей держать ответ за свою веру, если в цехе зародится такая вот бригада? Зоя, правда, говорит, что коммунистическое звание надо долго зарабатывать, его вроде бы и присуждают... Значит, время впереди еще есть.

И к удивленью своему, Катерина уже не ощущала того темного, тяжелого, как могильная плита, страха, с каким брела сюда всего лишь час тому назад. Но ведь ничего, ничего еще не решилось, — наоборот, может, больше запуталось! Значит, облегченье шло от этой девчушки, от Зои. Да, от нее.

Катерина остановилась и опять глянула на дом с терасочками. Она придет сюда еще и еще раз. Не может она отказаться от «земной суеты», не в силах отказаться. И нет, нет тут греха.

Нет греха... и всё!

XI

День начался самым обыкновенным образом — Катерина вышла в утреннюю смену, а Зоя отпросилась с уроков и, как заправская подручная, заменила больную Степаниду.

Освободились они непривычно рано и посреди сияющего весеннего дня вместе вышли за ворота на широкое, шумное шоссе. И тут Зоя сказала на прощание:

— Смотрите, тетя Катенька, лес-то не зимний стоит.

Она показала на деревья, что ровными рядами расходились в ту и другую сторону.

Катерина рассеянно усмехнулась:

— Разве это лес?

— Ну все-таки.— Зоя тряхнула головой и засмеялась.— Я, тетя Катенька, очень это люблю, когда деревья только-только оживают. Еще и нет ничего на них, а уж не зимние. Кора у них теплая стала, совсем живая. Правда ведь?

— Может, и правда,— неуверенно ответила Катерина: ей и в голову не приходило смотреть на деревья с таким вниманием, должно быть, потому, что сама она жила в лесу и зимой и летом.

Этот мимолетный разговор с Зоей как будто и не запомнился Катерине, она спокойно распрощалась с девочкой и вошла в переполненный автобус.

Дальше предстоял час пути в вагоне электрички.

Обычно этот час Катерина отдавала дреме. Но на этот раз задремать не удалось.

Войдя в вагон и усевшись у окна, она сначала подумала о том, что муж Василий работает нынче в дневной смене и, значит, обедать придется одной, а потом вдруг вспомнила Зоины слова о деревьях и по-настоящему удивилась — вот ведь что выходит: городская девчонка, поди ж ты, углядела какой-то там л е с в толчее и пыли грохочущих улиц... Деревца, посаженные по линейке, смирные, выстриженные, с корневищами, погребенными под тяжелыми чугунными решетками, для нее лес!

Чуть приметно усмехаясь, Катерина глянула в окно и вдруг заметила, что земля, бегущая навстречу поезду, действительно была уже не зимняя.

Просторная, как бы распахнувшаяся под солнцем, она держала на себе последние бугры снега — это уже не снег был, а темная, пористая наледь,— и Катерина с изумлением, почти болезненным, провожала взглядом влажные крыши домов, скворечни на белых березках, кривые проселочные дороги, рыжие от густо перемятой глиняной жижи.

Откуда-то из дальних лет, словно сквозь туман, с трудом и даже с му́кой припомнились и звонкий щебет птичьих стай, и острый, пьянящий аромат тополиных по-

чек, и лепет ручьев, и все другие нехитрые, но всегда новые, всегда удивительные приметы весны.

Катерина не первую и, конечно, не последнюю весну встречала в своей жизни, но вот уже много лет вроде бы не замечала ни солнца, ни травы, ни птичьего звона — все это проходило, проплывало мимо, не задевая и не касаясь ее, потому что жила она в уничижении и ничтожестве, представлявшемся ей высшим блаженством.

Жила и думала дожить до смертного часа, которого ждала как искупления и освобождения.

Что же с ней случилось? Почему сейчас она готова заплакать, глядя на какую-то галку, неуклюже прыгающую по влажным, жирным гребням пашни? Почему все тревожит ее, почему изнемогает сердце? Может, это заговорило в ней земное, греховное, как сказала бы тетя Поля? Ну что ж, каяться да вымаливать прощение бесполезно — это непреодолимо, это сильнее ее.

Обычно, сойдя на перрон, Катерина брела позади всех, усталая и погруженная в себя. На этот раз она заспешила и чуть не бегом побежала домой.

Но неподалеку от дома вдруг замедлила шаг: очень уж жалким показался ей флигелек, нахохлившийся под старой тесовой крышей и огороженный жидким покосившимся забором.

Ощущение это еще более усилилось, когда, пройдя через темные, сыроватые сени, она остановилась на пороге тихой пустой горницы.

Эта горница была словно бы нежилая. Два небольших густо запыленных окна едва пропускали сильный, нежный свет весеннего дня. На столе, криво торчавшем в переднем углу, валялись огрызки огурца и хлебные крошки, на полу темнели ошметки грязи. В угол возле печки она и

взглянуть не решилась — и без того знала, что кровать не прибрана с утра.

Стыд и горечь обожгли ее. И не о Зое подумала она в эту горькую минуту — Зоя не видела этих стен,— а о муже Василии. Отчетливо представилось, как Василий, проснувшись в пустой горнице, лениво вылез из перемятой постели, оплеснул лицо студеной водой, похрустел огурцами, которые давно уже пересолели, и ушел, щелкнув замком, не оглянувшись на то, что оставляет.

«Чего стою?» — спохватилась Катерина и взглянула на глухо тикавшие ходики: до прихода Василия оставалось часа три. Скорее, скорее! С этой минуты она не согласна больше ни одного дня, ни одного часа жить в заброшенном доме! Выскрести добела хоть горницу, а завтра за печкой разобраться да в сенях...

И она принялась за работу, ни на что более не отвлекаясь, не давая себе ни минуты отдыха. Затопив печку, чтобы нагреть побольше воды, слазила в подвал, вынула картошки и не сварить ее решила, а поджарить с лучком. То и дело бегала она с ведрами к колодцу, что был возле соседнего двора, и, мельком заметив, что в окно смотрят соседки, таинственно улыбнулась: вот ужо поглядите!..

Ранняя вечерняя заря застигла ее на ступеньках чисто промытого крыльца, раскрасневшуюся, с последнею шайкой воды в руках.

Выплеснув шайку под талый смородиновый куст, она выпрямилась и сразу замерла: лес, чуть отбежавший от поселка, стоял, пронизанный алым светом зари, и при этом слабом, тающем свете видно было, что деревья, окутанные легчайшей, призрачной дымкой, словно бы курились.

Кое-как приткнув шайку возле крыльца, она стала подниматься, но вдруг обессилела и медленно опустилась на верхнюю ступеньку.

«Устала»,— подумала она.

Но не усталость это была, и не болезнь прикинулась, а нашло какое-то сладостное изнеможение, и, поддавшись изнеможению, Катерина сидела, глубоко и жадно дыша. И вдруг, засмеявшись, сказала вслух:

— Скоро Вася придет. Вот удивится!

Смех, сразу же оборвавшийся, был похож на птичий клекот.

Она встала, заплела густую с легкой сединкой косу, обвила ее вокруг головы и, слабо улыбаясь, вошла в сени, от промытого пола полные острой и чистой прохлады.

Руки ее привычно делали что положено — она расстелила половики, нарезала картофель, лук, поставила на керосинку сковороду, а сама все думала о Василии и о себе.

Еще вчера она не поверила бы, что будет ждать его и думать о нем. Ведь уже давно стали слабеть и рваться те ненадежные нити, что как-то привязывали ее ко второму мужу.

«Семья Лавровых»,— так говорили про нее и Василия в поселке.

Была когда-то семья Лавровых, да быльем поросла.

С первым мужем, с Григорием Лавровым, у Катерины была любовь, сватовство по заведенному обычаю, последний девический денек. И страхи были, всякие, чудные, казавшиеся теперь, перед горем большой жизни, мелкими и смешными. Потом были солдатские проводы, а немного позднее — вдовьи, горькие, как полынь, злые слезы.

Все как у людей...

Не то с теперешним мужем, с Василием. Сосватались и сошлись они, можно сказать, наскоро и неприметно для людей. Василий, шофер с кирпичного завода, сложил свои скудные пожитки в чемодан и переехал из рабочего общежития в домик Катерины — вот и вся свадьба. И если был тут страх у Катерины, то совсем иной — вдовий, ревнивый страх, что останется навеки одна, без крепкого и надежного в беде мужского плеча. Да и простой расчет был: дом, какой он ни есть, требовал хозяйского глаза, на зиму полагалось запасти и распилить штабель дров, печь то и дело дымила, забор покосился еще при покойном Григории.

Она не думала скрывать от Василия своих вдовьих расчетов, и он ни слова не сказал поперек. Что же оставалось ему делать?

Из скупых рассказов его Катерина знала, что отчая его семья сгибла на юге, в оккупации, а жениться до войны он как-то не удосужился. В армии задержался надолго, служил в Берлине, а когда демобилизовался, то поехал куда глаза глядят, попал в Подмосковье и тут осел. Снимал углы, жил по общежитиям, пока не встретил Катерину.

Она, конечно, и так бы могла подумать, принимая к себе в дом Василия с его солдатским чемоданом: полюбил ее человек, искал в ней верную жену, а в домишке — прочное хозяйское гнездо, где можно наконец обрести и покой, и отдых от холостяцкого, постылого мыканья по свету. Может, так оно и было. Но сама-то Катерина, вдовевшая всего два года, в глубине сердца считала, что та, первая ее, молодая любовь сгибла и повториться не может.

Стала она Василию женою, исправной хозяйкой и заботницей, а все равно неблизкими они жили друг к другу. К тому же Катерина, как бы заранее подчеркивая свою отдельность, не захотела переменить фамилию и на заводе осталась на старом мужнином месте.

Василий говорил тогда: «Зря это ты, Катя, отдохнула бы. А то ведь задубела за столько-то лет: на заводе — за мужика, дома за мужика... Я-то на что?»

Она коротко ответила: «Ни к чему это, я привыкла...»

И тут еще дочка, Еленка...

В первые месяцы их жизни Василий поглядывал на девочку с некоторой опаской и даже робостью. Однажды принес Еленке кулек пряников, и та, принимая кулек, вопросительно взглянула на мать. «Спасибо где твое?» — неторопливо сказала Катерина и, помнится, даже усмехнулась: хочешь, мол, так дари, твоя воля, но это не обязательно. Больше Василий пряников не носил и не тщился приласкать падчерицу — понял, что не ищут в нем отца для Еленки.

Может, со временем и слепилась бы попрочнее семья Лавровых и Катерина решилась бы наконец перенести на Василия ту самую доверчивую женскую нежность, запасы которой она не успела истратить на своего Григория, а девочка признала бы в Василии настоящего отца, если б не погибла вдруг столь нелепо и страшно.

Вспомнив о смерти дочери, Катерина на этот раз не забилась и не закричала. Ее поразила мысль, возникшая внезапно, впервые за многие годы: она ведь все сделала, чтобы оттолкнуть от себя Василия, будто нарочно, ради скверной шутки, позвала его и приняла в свой дом и тут же отдалила.

Да, сама отдалила.

А окончательно они стали чужими друг другу, когда погибла девочка.

Она не захотела допустить Василия в тот мир безутешной, черной скорби, в какой погрузилась сама. Потом — столь же скрытно и отдельно от Василия — ушла в безоглядную, жгучую, почти истязующую веру господню.

Наверное, если б община не осуждала разводов, она давно бы покинула мужа. Это, может, и правильней было бы, потому что они продолжали жить под одной крышей уже чужие друг другу.

Но каково же Василию все это терпеть — сам по себе он перед ней, Катериной, ни в чем не виноват: дом жены превратился для него в безрадостную, только что бесплатную ночлежку.

Удивительно ли, что мало-помалу вернулись к нему холостяцкие привычки, и он стал выпивать, сначала в дни получки, потом и в другие дни. А она только отмалчивалась и с непонятным Василию и особенно бесившим его несокрушимым смирением принимала ругательства и даже тычки (и до этого у них стало доходить).

Вот недавно, когда орден ей дали и Василий, узнав, стал ее поздравлять, она молча на него глянула и остановила тем взглядом — не надо, мол, твоих поздравлений. И опять укрыла от него и муки свои, и раздумья...

Вот как все сложилось у них с Василием.

И не «сложилось», а сложила она сама, своими руками...

Василий почему-то все не шел, и мысли у Катерины стали путаться — все-таки сказывалась усталость. Уже полусонная, она поднялась с постели, старой стеганкой прикрыла сковороду с картошкой, прилегла и задремала.

Проснулась она оттого, что в горнице кто-то был. Но кто же мог к ней прийти, кроме Василия? С трудом разлепив веки, она увидела его, но сама даже не шевельнулась. В горнице серели сумерки, впрочем довольно еще светлые. Василий стоял к ней спиной.

С ходу он, должно быть, прошагал прямехонько в передний угол, и только потом, приметив чистый пол, остановился. Катерина тайком, из-под ресниц наблюдала за мужем. Вот он неуклюже, на цыпочках добрался до скамьи, с необыкновенной опаской снял грязные сапоги и на вытянутых руках понес их к двери. Однако не решился бросить у порога, а протопал в портянках на кухню и тихонько толкнул вторую дверь — вынес, значит, в сени.

Катерина уже совсем проснулась и с интересом выглядывала из-под платка, во сне надвинувшегося на глаза.

Василий вернулся в горницу, бесшумно повесил пиджак на гвоздь у двери и, вопросительно поглядев в угол, где темнела кровать, снова побрел к столу, по полу за ним волочились портянки.

Катерина не выдержала — очень уж робкий и сиротливый вид был у мужа — и позвала:

— Вася!

В тихом ее голосе, должно быть, различил он нотки необычной, мягкой участливости и, может, от этого замер на месте.

— Думал — спишь. Гляжу — прибралась,— нескладно пробормотал он сипловатым баском.

Она поднялась с постели, метнулась к печке и подала мужу чистые, высушенные носки.

— На-ко вот, согрейся. Да брось портянки в таз, чего ты их по полу волочишь?

Сказав это, она принялась собирать ужин, неслышно ступая по полу мягкими войлочными туфлями.

Василий послушно натянул носки и присел к столу, как гость, на краешек скамьи. Он, видно, ничего еще не понимал.

А когда Катерина уселась напротив него, в светлых, как бы выцветших глазах его мелькнуло почти страдальческое изумление. Должно быть, боялся, что все это ему только попритчилось и вот-вот может развеяться как сон.

— Ты ешь, ешь,— приговаривала Катерина, подкладывая горячего, ароматного жарева.

Он уже заметил, что картошку Катерина поджарила с луком, именно так, как ему нравилось. Значит, не надо было спешить, давясь холодными, осклизлыми картофелинами в кожуре. Получился спокойный, медлительный семейный ужин со спокойным и обстоятельным разговором.

Катерина, слушая мужа и отвечая ему, посматривала на его худое, ушастое, большеглазое лицо в светлой, колючей, давно, видно, не бритой щетинке и радовалась тому, что он заметно успокоился.

Как-то на заводе, давным-давно, подруги спросили у Катерины: «Какой он, твой-то?» Она подумала и ответила: «Обыкновенный».

Да, Василий был обыкновенным — светловолосый, не в пример чернявому Грише, почти безбровый, невысокий, но широкоплечий. В общем, ладный мужик. Разговорчив и даже руглив он был только во хмелю, трезвый же держался до угрюмости сдержанно и молчаливо. Да сама Катерина не охоча была до разговоров — такой уж у них дом образовался, вроде немой...

И вот сейчас, когда иссяк разговор и оба замолкли, Василий слегка потерялся: наверное, опять потянется и придавит их проклятое, беспросветное молчание!

Но он ошибся. Подавая стакан крепкого, свежего чая, Катерина сказала:

— Весна близко. Деревья-то уж не те стали.

Он вопросительно на нее глянул, и она объяснила:

— Это мне Зоя сказала нынче утром.

Он спросил, кто такая Зоя. Она ответила:

— Моя ученица на заводе,— и передала ему весь коротенький утренний разговор.

Потом прибавила, как будто безо всякой связи:

— Весной-то на солнышке очень уж видать всякий беспорядок. Вот я и помыла!

— Ну и хорошо! — обрадованно отозвался Василий.— А сперва я даже глазам не поверил и вроде испугался.

Тут он провел ладонью по запотевшему лбу и прибавил:

— А что, если позвать эту Зою к нам? Пускай бы лес поглядела. Какой ни то пирожок испечь, хоть с картошкой. И тебе, Катя, повеселее станет.

Она посмотрела на него, и глаза ее так сверкнули, что он понял: с этой Зоей узелок непростой завязался.

И покорно пробормотал:

— А то не зови. Я к слову.

— Сиротка она,— сказала Катерина и смолкла.

Но молчание было коротким:

— Почему это с картошкой? — задумчиво спросила она и вдруг оживилась: — С маком можно завернуть... рулет.

«Вот и я говорю!» — хотел было сказать обрадованный Василий, но сдержался — боязно было спугнуть Ка-

терину. А она опять затуманилась. Необыкновенная она сейчас была, вся розовая, то ли от разговора, то ли от волнения, коса по-девичьи распустилась... красивая!

— Катя,— тихо сказал Василий и весь подался к ней через стол.— А ты больше не молчи, Катя. Ты только не молчи, слышишь?

XII

С того солнечного апрельского дня, когда Катерина так радостно и непонятно заторопилась домой, для нее началась иная, наполненная непрерывными открытиями жизнь.

Катерина, конечно, знала все, что ей открывалось, точнее, когда-то знала. Однако ж успела позабыть столь прочно, что радовалась и прибранному дому с промытыми, глазастыми окнами, и светлой горнице, куда вернулись уютные, обжитые запахи, и белой стайке своих же собственных кур.

Каждый клочок земли на огороде, выходивший из-под снега, безжалостно обнажал заросли заматеревшего бурьяна, посреди которого едва заметны были заброшенные грядки, когда-то обихоженные заботливыми руками.

Катерина не стала ждать, когда окончательно освободится и отогреется земля, а в свободное время принялась копаться в огороде.

Соседи только дивились и пускались в бесконечные пересуды, что бы это могло случиться с «божественной» молчальницей.

Самая языкатая из домохозяек в конце концов сочинила, что Катерина скребет и чистит свой дом только

для того, чтобы позвать на огонек «сестер» по секте и устроить что-то вроде молитвенного сборища... «Уж и Василия, похоже, туда втащила, вон как мужик старается — крыльцо подновил, теперь забор подымает...»

Как-то столкнувшись с Катериной лицом к лицу, языкатая соседка с притворной ласковостью сказала:

— Рано приборочку затеяла, до пасхи, гляди, еще загрязнится.

— А это никогда не рано,— быстро ответила Катерина и не по-обычному прямо и словно бы с вызовом глянула на «языкатую».

Та опешила, сбилась с разговора и торопливо отошла.

А в воскресный день Лавровы повергли своих соседей в полное и окончательное недоумение — у них появилась гостья. Принята она была с заботливостью прямо-таки удивительной: из усадьбы Лавровых по всей улице растеклись сдобные запахи пирогов, и это в великий пост, чуть ли не на страстной неделе!

А была гостья всего только рыжая девчонка, наверное школьница из Москвы: овчинка, как говорится, не стоила выделки.

Зоя Степанова приехала к Катерине в своем неизменном выцветшем пальтишке, но в наглаженной школьной форме с белейшим воротничком. Она и не подозревала, какую горькую повесть могли бы поведать ей стены дома, порог которого она переступила, сияя от предчувствия доброй встречи с тетей Катенькой в ее флигельке посреди «настоящего леса».

Сначала она немного дичилась Василия. Но он был так по-отечески приветлив и прост, что Зоя быстро пришла в себя и шумно затараторила. (Она до того привыкла всегда

быть среди множества людей, в детдоме, в школе, а теперь в шумном цехе, что совсем не умела говорить по-семейному тихо.)

Выпив стакан чая с пирогом и нащебетавшись вволю, она отправилась в лес и вернулась только к обеду, вымокшая до пояса, но с багровым румянцем на щеках.

— Снег обманный, проваливается,— сообщила она Катерине удивительную «новость» и с радостным оживлением прибавила: — Я белку видела. Такая небоязливая! Это она меня увела, я и стала проваливаться.

Катерина слегка пожурила гостью и усадила ее у печки — греться и обсыхать. А Василий спросил:

— Так это что ж, иль в лесу не бывала? Поди, вывозили каждый год?

— Вывозили,— ответила Зоя и затараторила совсем о другом.

Только за обедом, опростав тарелку со щами, она положила ложку и, невесело улыбаясь, сказала.

— В лес-то, конечно, вывозили, да все время считали.

— Как это считали? — не понял Василий.

— Да так, гулять ведут — считают, из лесу выходим — считают, спать ложимся — считают. А были такие воспитательницы, по головам пальцем тыкали, чтобы в счете не сбиться.

— Вон как,— пробормотал Василий и чуть растерянно глянул на Катерину.

— Теперь отсчитались, не потеряешься,— с улыбкой, утешительной и для Зои и для мужа, проговорила Катерина.

И Зоя с серьезной убежденностью отозвалась:

— Теперь не потеряюсь.

Василий опять подумал: нет, Зоя не только ученица для его Катерины, не иначе как утешенья ищет Катерина в этом чужом одиноком птенце.

Догадку свою Василий удержал при себе. Зная, что дотронуться до той кровоточащей раны немыслимо, он побоялся даже взглянуть на жену. Но она как ни в чем не бывало бегала от стола к печи, и все у нее получалось столь ловко и домовито, что Зоя восторженно воскликнула:

— Я так и знала, тетя Катенька, что у вас в доме хорошо-хорошо!

Катерина вроде споткнулась, едва не выронив стаканы с горячим чаем; на румяном от печного жара лице ее появилось выражение немой мольбы: не говори так, девочка, пожалуйста, не говори!

Это была единственная заминка за все счастливое гостевание Зои, промелькнувшее как светлая молния. Проводив девочку на поезд, Катерина снова притихла и угрюмо поплелась домой.

Мысли ее бродили вокруг Зои. Хорошо, когда человеку семнадцать лет: и радости и веселье еще по-ребячьи безоглядны, и горе еще не горе. Девчушке кажется, что все просто: есть у тети Кати дом, есть муж, скоро орден получит — чего еще желать? А того не знает, глупая, как замутилась тети Катина жизнь от почетного награждения...

И тут Катерина вдруг вспомнила, что уже два воскресенья подряд не была в молитвенном доме, и нынче, можно сказать, своими руками отвела поездку в Москву. Не хотелось ей идти на собрание, не хотелось, и всё...

«Братья и сестры» из молитвенного дома скажут, что это «охлажденье» — первая ступень к греху. Да, так они

и говорят: ступень к греху. Минует еще сколько-то времени, они заметят и придут. И спросят: «Что с тобой, сестра?» Может, сам Строев спросит... Ну что ж, пусть спрашивает, на то он поставлен, за то, поди, и деньги получает...

Еще недели три назад такая мысль ввергла бы Катерину в отчаяние. Теперь она оставалась спокойной. Можно даже сказать, ожесточенно-спокойной... Только вспомнив о тете Поле, она вдруг почувствовала, что сердце в ней бешено заколотилось.

Тетя Поля — вот с кем будет трудное расставание, если оно суждено. В самые черные дни пришла тетя Поля и не побоялась вложить персты в кровавую материнскую рану, сумела утешить, увести за собою под тихую, целебную сень веры... Что же плохого для Катерины сделала тетя Поля? Одно только хорошее сделала, и, значит, сама совесть должна повести Катерину к старой подруге.

— Зачем? Зачем? — воскликнула Катерина с мукой, со страхом и даже остановилась.

«Сказаться надо», — неопределенно решила она и зашагала домой, успокаивая и уговаривая себя...

Она не стала откладывать свидания с тетей Полей и отправилась к ней в соседний поселок на другой же день, благо на заводе в эту неделю ей положена была ночная смена.

Тетя Поля, одинокая старуха, ночная сторожиха в санатории, жила в крохотной чистенькой комнатке коммунального шумного дома, где ее, относившуюся с безмолвным смирением ко всем кухонным и коридорным сварам, считали блаженненькой.

Когда-то у тети Поли была своя семья. Но двое сыновей не вернулись с войны, муж умер от рака, дочь погибла в автобусной катастрофе, осталась тетя Поля одна, давно отплакалась, отгоревалась и нашла полное забвение в вере.

Ничто житейское, изменчивое уже не могло затронуть ее испепеленного сердца, и в нынешней ее жизни уже ничего не могло рухнуть иль сколь-нибудь измениться. Даже служба у нее была тихая, монотонная, сидячая — она сторожила и все ночи напролет читала библию, медленно, с наслаждением шевеля сухими, увядшими губами.

В общине тетю Полю почитали, как одну из самых истовых и, главное, деятельных сестер. В ней жили лишь две одинаково огромных страсти: служение Христу и обращение к нему новых «овец».

Она умела найти, застигнуть человека в какой-то его горький, отчаянный, последний час, брала его за руку и с мягкой покоряющей силой повергала на колени перед тем, кто — она любила это повторять — по капле источил святую свою мученическую кровь «за всех человеков...».

Она неотразимо действовала на людей даже одним своим видом: у нее было тихое, все еще красивое лицо с большими добрыми и смиренными глазами, сиявшими счастливой, кроткой, прямо-таки голубиной улыбкой.

Одевалась тетя Поля подчеркнуто скромно и опрятно, под тяжелой шалью носила белоснежный платок, а на платье не забывала пришить белейший вышитый плотной старинной гладью воротничок.

Люди поневоле тянулись к ней — такой открывался им в тете Поле ясный, покойный и приветливый мир.

Вот почему Катерине так трудно, даже невыносимо

было входить в восторженную душевную обитель тети Поли не с покорным словом, а с обидой для старшей «сестры», да еще с обидой самой горькой: ведь сколько раз говорила она Катерине, что нашла в ней вернейшую овцу Христову и что гранитная скала скорее треснет, чем качнется она, Катерина Лаврова!

«Веры я не касаюсь...» — подумала Катерина, но получилось как-то неутешительно. И когда она вошла в шумный коридор дома, где жила тетя Поля, сердце у нее билось неспокойно.

Тетя Поля сидела в своей старательно прибранной комнатке среди белых занавесок, подушечек, салфеточек и, вздев на нос очки, читала продолговатую затрепанную книжечку — это был сборник гимнов.

Увидев Катерину, она сняла очки и, закрыв книжечку, засияла добрейшими улыбочками.

— Вот и славно, садись, дорогая сестра! — ласково сказала она.

Катерина напряженно опустилась на кончик стула. Но тетя Поля не хотела замечать в ней ничего необычного. Она засеменила вон из комнаты поставить чайку на кухне, а когда вернулась, посреди пустячного разговора спросила, будто между прочим:

— Ты чего, иль сзади садиться стала? Не видела я тебя.

— Не была я на молении,— сухо сказала Катерина.

Она хотела прибавить: «В дневную смену работала»,— но не прибавила, решив, что это не оправдание.

Тетя Поля будто и не удивилась и только спросила:

— Иль приболела?

Катерина помедлила и ответила кратко:

— Нет, не приболела.

— А-а,— протянула тетя Поля и замолчала, опустив глаза.

Катерина сидела неподвижно и ждала. «Сейчас,— думалось ей,— корить начнет да обличать».

XIII

Но тетя Поля вдруг заплакала. Она даже головой на стол повалилась, прямо на гимны, и все ее худенькое тело сотрясалось от горестных рыданий. Катерина перепугалась и застыдилась: все, что скопилось в ее сердце — благодарность, может быть любовь или привычное доверие к тете Поле,— все поднялось и ринулось навстречу старому другу.

Она вскочила, обняла старуху за плечи:

— Что случилось? Иль горе какое?

Тетя Поля медленно выпрямилась, приложила платочек к глазам и сказала изменившимся, глухим голосом:

— Еще какое горе. Не у меня, у тебя горе. О тебе плачу.

Руки Катерины сами собой убрались с плеч старухи. Она постояла над нею, отошла и снова опустилась на стул. И лицо у нее сразу закаменело.

Тетя Поля, опытным глазом неприметно наблюдавшая за нею, поняла: «Похоже, дальше не пустит, теперь ей и силой рот не раздерешь... А ведь как кинулась!»

Катерина никогда еще не задавала тете Поле никаких задач: она жила в вере и молитве естественно и легко, как птица в полете. Что же с нею в самом деле стряслось?.. Может, это награда так ее растревожила? Подумаешь, невидаль какая!

Тетя Поля не могла себе позволить даже и мысли о том, что Катерина Лаврова «отпадет» от веры. Непростимый это будет грех и ляжет он не только на Катерину, но и на нее, старую Пелагею. Ужасная, непосильная ноша, и это перед последними вратами жизни, за которыми уже отворены другие врата — жемчужные.

Нащупывая, как слепая, верную и самую короткую тропу к сердцу вчерашней «сестры», тетя Поля смиренно спросила:

— Ты что же, Катя... иль уже получила медаль-то?

Катерина ответила скупо, едва разлепив губы:

— Не медаль, а орден. Нет еще.

— Орден... Ну что же, не одна ты получаешь. Трудишься, вот и дали.

— Да, — обронила Катерина.

— Вера и труд рядом живут,— осторожно добавила тетя Поля.— Сама знаешь, не из корысти мы трудимся, верующие, не из тщеславия, но ради служения Христу.

— Знаю,— односложно откликнулась Катерина: изречения эти она слышала почти в каждой проповеди.

И вдруг в памяти словно вспыхнули и обожгли ее слова секретаря парткома Пахомова: «Я тружусь не для загробной жизни, а для живых людей... и не боюсь перестараться, перейти стопроцентную норму, я жадный». Катерине даже дышать трудно стало.

А когда услышала она увещевающие слова тети Поли: «Ну, чего же ты замутилась?», то порывисто выпрямилась, и тетя Поля даже откачнулась, замолкнув на полуслове: перед нею сидела какая-то совсем иная, незнакомая женщина, прямая, темнобровая, румяная, с широкими, почти по-мужски развернутыми плечами и блестящим, прямо-таки пронзающим взглядом.

«Слепа ты, старая,— с отчаянием подумала тетя Поля,— вырастила в божьем гнезде не голубя, а ястребицу хищную!»

И тут заговорила Катерина — громко, несвязно, то и дело замолкая, словно задыхаясь:

— Какая там корысть... не из корысти работают... Ты что думаешь? Пуговицы к штанам мы там вытачиваем?

— Бог с тобой, сестра... — прошептала тетя Поля: она не могла прийти в себя от изумления.

— Обожди,— властно крикнула Катерина.— Не пуговицы, а крылья к самолетам... да! Вот этими руками! — Она потрясла большими смуглыми кулаками.— Когда надо было смерти не бояться — не боялись, под бомбами работали... Рабочие... не думай, «они» гордее нас с тобой. И по земле тверже ходят, с молодых лет...

— Наши тропы на небесах, в горниим чертоге, у нашего отца,— быстро проговорила тетя Поля. Она взяла себя в руки и приняла решение, как ей сейчас представлялось, единственно возможное: угрозить Катерине, напомнить о власти общины, где она приняла святое крещение. Крещение же есть клятва Христу, на всю земную жизнь клятва, до последнего вздоха.

— И радоваться умеют... и горевать... не по-нашему,— неожиданно прибавила Катерина потише, поглуше, и в глазах у нее прошла тень, словно от внезапной боли.

Она не хотела повторять слова «они» (это Зойка-то ее, или Степанида, или любая клепальщица из цеха «они»?), но и не смела еще произнести прямого и ясного «мы». Тетя Поля поняла, на что замахивалась Катерина в своем до беспамятства жарком запале: значит, утешение она получила в общине вроде как ненастоящее?

— А как они,— не без хитрости спросила тетя Поля,— как они, лучше, что ли, радуются и горюют?

— Обыкновеннее,— задумчиво, словно для себя самой, сказала Катерина.— Смелее. И с горем смелее встречаются.

— «Смелее!» Господь посылает тебе, человек, испытание, а ты «смелее» его отбрасывай от себя, так, что ли?

Тетя Поля с горестным укором глянула на Катерину.

«Грешница! — хотелось ей крикнуть.— Великая грешница в тебе восстала! Плоть ноне тебя поборает!»

И как же раньше не разглядела она в Катерине этого большого, налитого силой тела, этих жилистых кулаков и этого упрямого, скуластого лица!.. Разве такая будет лежать ниц перед господом?

— Помнишь ли, что приняла святое крещение? — тихо спросила тетя Поля, когда Катерина замолчала.

Та не ответила, только свела густые брови.

— Неужели низринешься, сестра?

Голос у тети Поли упал до свистящего шепота, так страшно было ей произнести эти слова.

— Сама ничего не знаю,— прошептала Катерина.

Губы у нее раскрылись, словно от жажды, глаза остро и влажно блеснули.

— А ты поплачь, поплачь! — с жаром, радостно посоветовала тетя Поля.

— Ничего не знаю,— повторила Катерина уже более спокойно и опустила глаза.— Веры я не касаюсь.

«Кажись, и впрямь не понимает, что с нею творится...— подумала тетя Поля.— Надо ей угрозить, пока не поздно...»

Она перевела дух и заговорила уверенным тоном наставницы:

— Не забывай, сестра, мы странники и пришельцы на земле. Помнишь праведные слова гимна о земном мире: «Нет, нет, нет, он нам чужой, лишь в мире небес есть полный покой»? Счастье земное скоротечно, вечное счастье найдет тот, кто не отвратится от светлого лика Христа!

Тетя Поля на мгновение приумолкла и вдруг запела тоненьким, дрожащим голоском:

О, как прекрасен лик твой чудный,
Кто видел раз его душой,
Тому не нужен образ скудный,
Рукой начертанный людской...

— Тетя Поля! — вся затрепетав, прервала ее Катерина.— Я веры не касаюсь, сказала ведь.

От тети Поли не ускользнуло смятение грешной «сестры», это ее приободрило — она решила перейти к прямым упрекам и угрозам.

— «Не касаюсь»! Вера есть молитва и усердие. Где твое усердие, твое служение господу? Опомнись, Катерина! Лишишься веры — впадешь в сиротство души. Ежели,— тетя Поля подняла крючковатый худой палец,— ежели и отбросишь греховное сомнение и опять веру обретешь, все равно вера твоя подобна будет головне обугленной! Придешь в свой час к вратам божиим, там тебе и скажут: ты сомневалась, отойди. Ах, сестра, мы уж в одиннадцатом часе живем, недолго осталось до божьего суда...

— Зря это ты, тетя Поля,— буднично просто, сбивая наставницу с торжественного тона, сказала Катерина.— Ну, не была я на молении, так ведь некогда было...

Тетя Поля не поверила простоте этих слов. Глаза ее встретились с глазами Катерины, та отвела взор и тихо проговорила:

— Сама еще не знаю, что делать. Подумаю, а пока пойду.

— А ну как там спросят? — осторожно осведомилась тетя Поля.

— Скажи, что захочешь.

Так неожиданно и так смутно прервался их разговор, и они расстались, недовольные друг другом.

Потом Катерина шагала через поселок, ничего вокруг не замечая. Только когда острая прохлада леса охватила ее и по тропе побежали пестрые тени, она подняла голову и увидела, что ее плотно окружали деревья, уже оперившиеся молодой листвой.

Она постояла, полюбовалась клейкими листочками и, свернув с тропы, вошла в высокие заросли кустарника, то и дело раздвигая длинные цепкие ветви — ей хотелось поскорее проникнуть на светлую полянку, к березкам, что нежно белели впереди.

Но вдруг она остановилась почти в испуге: прямо перед нею на хрупком сплетении ветвей сидела взъерошенная птица, в круглых глазах ее, пронзительно устремленных на Катерину, метались одновременно и великий страх перед человеком и отчаянная решимость умереть, но не уступить, не сойти с места.

«У нее тут гнездо!» — догадалась Катерина, руки ее сами собой разжались, и кудрявые ветви соединились. Только теперь сквозь зеленую путаницу Катерина разглядела птицу, красногрудую, с атласной головкой, увенчанной изумрудным царственным венчиком...

— Не бойся, не трону,— сказала она птице, как чело-

веку, и почувствовала, что губы дрожат. Теперь она одного боялась: не спугнуть бы крылатую мать. Низко склоняясь, почти ползком она выбралась на полянку и тут, упав на молодую мокрую траву, заплакала.

XIV

Аполлинария Ядринцева, с обычной своей пунктуальностью выполняя поручение секретаря парткома Пахомова, каждый день неизменно справлялась, как работает Лаврова, и в ответ слышала от мастеров и сменных инженеров только одно: хорошо работает, норму перевыполняет, ученицу не только обучила клепальному делу, но, кажется, уговорила остаться на заводе.

Теперь уж странно было бы подумать, что она не пойдет в Кремль.

«Вопрос» о Лавровой, казалось, был исчерпан, и Ядринцева могла спокойно доложить Пахомову, когда он вернется в партком после болезни, что поручение выполнено.

Но были в этом «вопросе» две трудные закавыки. Лаврова ведь и раньше, до награждения, выполняла и перевыполняла норму,— стало быть, секретарь парткома Пахомов имел в виду другое, а именно: одумалась ли Катерина или осталась прежней, смиренной «тварью Христовой»?

Вот тут и была главная закавыка. Еще в день митинга в цехе, когда вдруг выяснилось, что награжденная орденом Лаврова сектантка, председательша цехкома почувствовала себя вроде как одураченной.

Ей тогда представилось, что Пахомов с прямолинейной его принципиальностью «комсомольца двадцатых годов», как его, еще совсем не старого, втихую обзывали некоторые недоброжелатели из управленческого аппарата, вкатит ей, неудачливой рекомендательнице, выговор с занесением в личную карточку. А уж какой она председатель цехкома, с выговором-то! И это за три года до персональной пенсии, какую она, многолетний выборный работник, твердо рассчитывала получить.

Все повернулось иначе, ответственности она избежала, но досада на Лаврову осталась, а потом досада перешла во что-то вроде женской ревности или просто зависти.

Впервые охватило Ядринцеву это странное, до того еще не испытанное чувство в тот солнечный мартовский полдень, когда на ее глазах Катерина встретилась с Зоей Степановой.

Горячий и властный ветер материнской любви долетел до Аполлинарии и обжег ее — никогда не знала она, одинокая, ни материнских мук, ни радостей, ни труда материнского: не зачинала, не родила, не растила, не хоронила, словом, обокрала себя начисто!

Но это еще не все; с ревностью, возраставшей день ото дня, она издали наблюдала, как изменялась Катерина Лаврова, можно сказать, на глазах изменялась.

В ней вдруг проступила и стала всем видна зрелая женская красота. Откуда-то взялась и стать, и стройность, и энергическая властность движений, и свет, и открытая, нетайная улыбка в серых, под смоляными бровями, глазах.

«А что ей,— думалось Ядринцевой (уже совсем помелкому, по-бабьи),— дома у нее муж, на работе почет

и внимание, скоро орден получит... Покачается, покачается, да и встанет на ноги, и наживется еще досыта. Может, и Зойку подберет, детдомовку безродную...»

В общем, пошла у Ядринцевой кривая, неверная линия: начала она с надменного презрения к Лавровой (сектантка, дескать, притаилась, как лягушка в трясине, помалкивала да обманывала общественность!), а потом докатилась до бабьей, нерассуждающей, темной зависти! Как же это случилось, что сектантка Лаврова (она ведь еще сектантка) поднялась выше тебя, старого почитаемого работника?

Вот в какую путаницу ухитрилась влезть председательша, и вот почему она опасалась разговора с Пахомовым.

И все-таки этот разговор настиг ее скорее, чем она предполагала. Вызов в Кремль на имя Екатерины Степановны Лавровой партком получил на другой же день после того, как Пахомов вернулся на работу.

Так же, как и месяц назад, в кабинете Ядринцевой затрещал телефон и знакомый голос технической секретарши, в котором на этот раз явственно слышались бодрые интонации, сообщил Аполлинарии, что Василий Иванович просит ее срочно зайти.

В дверях Аполлинария едва не столкнулась с седым улыбающимся рабочим — это был один из старых клепальщиков из цеха Лавровой. Деликатно вытеснив Ядринцеву обратно в коридор, он доверительно сказал:

— Все-таки пришел. А мы уж боялись! Доктора ему напрочь запретили работать. Плоховат, конечно. Давление-то у него особенное, от раны. Все-таки уговорили.

— Кто же это уговаривал? — не поняла Аполлинария.

— Да мы, старики,— засмеялся клепальщик.— Само-

деятельность развели. Видишь, пришел. Завтра нашей Катерине Лавровой орден получать.

— Ага, — не без смятения обронила Аполлинария и, кивнув старику, ринулась к двери.

Разговор поначалу показался ей самым обычным, или, как она говорила, «рядовым». Пахомов только спросил о Лавровой:

— Ну, как с Лавровой? Надеюсь, все в порядке?

— В порядке,— ответила Аполлинария.

— Вот видишь,— тихо, с заметной одышкой проговорил Пахомов.— Как верно мы с тобой сделали, что никому не сказали насчет секты. Не осрамили человека, дали ему на ноги встать.

— Она осталась сектанткой,— осторожно возразила Аполлинария.

— Знаю. Но у нее свет впереди. Не тьма, а свет.

Аполлинария пожала плечами:

— Может, и так.

— А что, разве не так? Нет, надо больше верить человеку, Аполлинария Ивановна.— Пахомов прямо, уже без улыбки взглянул на нее.— Я верю: Саргассово море у нее позади.

— Саргассово? — Ядринцева озабоченно поджала крошечный ротик и вспомнила: — Ах, это с водорослями!

— Да, с водорослями. Водоросли эти, Аполлинария Ивановна, растут и умирают в тихом водовороте, так сказать, без выхода. Но нам с тобой надо было найти выход. Надо было протаранить бездонные слоевища водорослей. А таран только один: доверие к человеку. Но ты знаешь, что Лаврова вот уже три недели не была в молитвенном доме? — неожиданно спросил он.

— Нет, не знаю,— честно призналась Ядринцева.— Неужели не ходит?

— Сведения точные. Но,— Пахомов предупреждающе поднял длинный палец,— она еще может туда пойти, не обольщайся. И все-таки уже не сумеет стать такой безгласной, такой равнодушной, какою была месяц назад. Хочу ее видеть!

— Сейчас пришлю,— с облегчением произнесла Ядринцева и встала.

— В обеденный перерыв,— остановил ее Пахомов.— Она знает о вызове?

Ядринцева пожала плечами: это ей неизвестно.

— А вот об этом скажешь ей сейчас,— попросил Василий Иванович, пытливо снизу вверх глядя на высокую Ядринцеву.

— Хорошо.

Она все-таки пошла к двери. Тихий голос Пахомова настиг ее у порога:

— Не спеши.

Аполлинария, стараясь шагать помягче, вернулась к столу и под взглядом Пахомова снова села в жесткое кресло.

— Мы много лет повторяли... очень много лет повторяли, что «человек — это самое дорогое»... помнишь? — заговорил он.

Ядринцева молча кивнула.

— Но верить человеку не только на словах, а по-настоящему, от всего сердца,— это наука, оказывается, нелегкая, а? Партия провозгласила горькую правду о культе личности Сталина, все поняли эту правду — чудовищно было бы не понять. Но не надо скрывать, кое у кого еще осталась, еще живет привычка к проформе, к рапортам, к

безличным процентам. Без человека и вне человека... Вот где мертвый держит живого.

— Великая правда партии, однако же, не предполагает всеобщей амнистии,— медленно, как бы защищаясь, возразила Аполлинария. И, подумав, прибавила: — Если же о Лавровой говорить, то она все-таки сектантка. И я думаю, тут не доверие нужно, а борьба.

— Да,— согласился Василий Иванович.— Борьба за человека. Вот почему я и говорю о доверии. Помнишь наш спор насчет ученицы... той, беленькой? Ты говорила: «Надо ограждать молодежь от подобных влияний...» Помнишь?

— Конечно.

— А мы решились, доверили Лавровой эту девочку. И кто же на кого оказал влияние?

— Это полная неожиданность,— призналась Аполлинария. И вдруг догадалась, что Пахомов именно ей, Ядринцевой, председателю цехкома, хочет «вправить мозги». По своему обычаю, он не нажимает, не разжевывает, а заставляет собеседника додумать наедине с самим собою, со своей совестью то, что надо додумать.

Пахомов потер лоб и сказал просто и буднично:

— Не забудь ко мне позвать Лаврову в обеденный перерыв.

И она вышла, на сей раз поспешно, не оглядываясь, прошла мимо секретарши и только в пустом коридоре остановилась.

Работники, искалеченные проформой и процентами... Доверие от всего сердца сектантке Лавровой и недоверие ей, Ядринцевой, человеку, который предан делу до последней капли крови!

Ядринцева даже головой замотала от возмущения и только тут увидела маячившую в конце коридора фигуру человека нездешнего, но смутно ей знакомого. Она опомнилась, привычно приосанилась, двинулась было дальше. Но опять остановилась: навстречу ей медленно шагал сутулый громоздкий старик, бухгалтер из треста... Да, старик, для всех просто бухгалтер, но не для нее, Поли Ядринцевой: когда-то давно она ради него из Поли превратилась в Аполлинарию.

То были единственные в ее жизни недели и даже месяцы любви. Он ответил ей, но не скрыл, что женат и от жены и детей никогда не уйдет. В конце концов гордость Аполлинарии возмутилась — любовь получалась стыдная, ворованная. Он покинул ее. Прошли годы, наступила благословенная давность. Она видела его редко, разве только во время какой-нибудь финансовой ревизии...

И вот он снова идет ей навстречу... Нет, надо же было этому человеку возникнуть в такую горькую минуту. Прямо судьба!

Старик поднял голову, и в глазах его мелькнуло что-то вроде удивления. Кивнув друг другу, они молча разминулись.

Но Аполлинарии недосуг было предаваться воспоминаниям — все ее помыслы заняты были сейчас Пахомовым: как и от кого он узнал, что эта сектантка перестала ходить на моления?

Ей не было известно, что Пахомов еще вчера, в первый же свой рабочий день, успел свидеться с мужем Катерины: срочная телеграмма парткома нашла его в гараже, где он работал.

Встреча произошла сразу же после обеденного перерыва и затянулась вплоть до сумерек. Пахомов прежде

всего спросил, на каком фронте воевал Василий; оказалось, что оба они освобождали Украину, их дивизии на линии фронта стояли «соседями». Они вспомнили крупные бои, в которых Пахомову приходилось воевать в небе, а Василию на земле, в перегретой тесноте танка. Беседа полилась свободнее — сказалось нестареющее фронтовое родство. И Пахомов почти без всякого усилия сумел перевести разговор на Катерину. Василий охотно рассказал, что живут они с Катериной давно и девочка уже при нем, при Василии, погибла, а после того Катерина и угодила к сектантам.

— Крепко они ее зацапали,— досадливо прибавил он.— Просишь ее, уговариваешь — молчит. А если заругаешься да, грешным делом, замахнешься, так она даже рада тому, аж сама подставляется, такое в ней смирение объявилось...

— Как же это ты, солдат, свою Катерину упустил? — упрекнул его Пахомов.— В атаки ходил, не боялся, а тут перед сектантами оплошал?

— В атаке легче, цель видишь в бойнице,— возразил Василий со стеснительной усмешкой.— А тут... я в ее дом вошел, вроде примак. Не волен я над ней. Да и характерная она, Катерина-то.

— Это верно,— мягко согласился Пахомов.

С Василием еще никто не беседовал так душевно по семейным делам, не захотелось ему утаивать от секретаря парткома свои думки и свои надежды. Тут-то и сказал он, что Катерина у него мудреная, чего-то все мечется, а за последнее время повеселела немного и — заметил — ни на неделе, ни даже по воскресеньям в молитвенный дом не ходит.

— Три воскресенья не ходила,— уточнил он.

— Правильно,— произнес Пахомов, будто заключая свои собственные нелегкие мысли о Катерине.— Дерись, тезка, за жену, дерись до победного конца. Мы, заводские, тебе поможем.

На прощание он посоветовал Василию как можно скорее познакомиться с напарницей Катерины, со Степанидой Клочковой.

— Дюжая такая женщина, по виду даже страшновата,— прибавил он со скупой улыбкой.— Но, я тебе скажу, это будет верный союзник. Голова у нее, брат, отлично устроена...

XV

Пахомов встретил Катерину уважительно и так просто, словно месяц назад и не было между ними неприятного, тяжкого спора. Ни словом не помянул он насчет веры, насчет секты — Катерина этого очень опасалась,— а протянул пригласительный билет и сказал:

— Завтра тебе, Катерина Степановна, в Кремль.

— Хорошо,— тихо ответила она и добавила:— Не собралась я к вам.

— Я болел,— словно в оправдание ей сказал Василий Иванович и улыбнулся.— Еще увидимся.

— Да.

Он деловито осведомился, не попросить ли товарища Ядринцеву проводить Катерину в Кремль? Для председательши это дело привычное.

Катерина как будто согласилась:

— Боюсь, уши подведут. Как заволнуюсь, слышать перестаю. Выкрикнут, а я не услышу.

— Ну вот, провожатый и понадобится.

Но по глазам Лавровой он видел: Катерина не очень-то согласна. Она в самом деле сказала:

— Может, Зою взять, ученицу мою?

Василий Иванович согласился, даже как будто обрадовался этой просьбе. Заметив, что она держит билет на ладони, словно боясь невзначай его запачкать, он подал листок чистой бумаги, чтобы завернула. И, когда оба уже стояли, прощаясь, сказал, или, точнее, повторил те самые слова, какими в прошлый раз заключилась их беседа:

— Ступай, Катерина Степановна, в Кремль, голову выше неси.— И прибавил еще: —Твоя работа почетная. Но очень тяжелая, мы давно ищем, как облегчить клепку. Надо бы автоматики побольше, чтобы люди не наживали ревматизма, не теряли слуха. Но пока это еще только планы да попытки. Имей в виду: завод особо уважает клепальщиц за их самоотверженность, за безотказность. Ну, счастливо тебе, Катерина Степановна!

Она осторожно пожала его худую руку, спокойно сказала спасибо и вышла.

За дверью, однако, сразу прибавила шагу, а через двор не пробежала, а, можно сказать, пролетела: она знала, что Зоя и Степанида сидят в столовой и ждут ее. Она и в самом деле увидела их с порога, но добралась в тот дальний угол не скоро: ее несколько раз останавливали, разглядывали билет (там, оказывается, было помечено «Георгиевский зал»), спрашивали, была ли она в Кремле и что завтра наденет ради такого праздника.

— Гляди, приберись хорошенько,— посоветовала ей старая клепальщица.— Если скажешь чего, каждое слово раньше того обдумай, одна от всех нас идешь.

— Разве мне говорить нужно? — робко спросила Катерина.

Она давно знала старую клепальщицу, и та тоже знала Катерину и всю ее жизнь, все ее беды, и, наверное, помнила даже Григория Лаврова. Да и другие, кто окружал сейчас Катерину, знали ее, но в каком же отдалении от них жила она все эти годы!

Старая клепальщица удивилась вопросу Катерины:

— А как же иначе: возьмешь орден и неужели смолчишь, повернешься спиной? Спасибо хоть надо сказать.

— Спасибо скажу,— согласилась Катерина и прибавила конфузясь: — А надеть прямо не знаю что. У меня все темное. На голову-то, наверное, платок надо?

— Ну зачем же платок, старуха, что ли? — с досадой возразила работница.

Получив обратно билет, Катерина опять завернула его в бумагу и пошла к своему столику. Степанида и Зоя терпеливо ее дожидались и с приметным интересом кинулись разглядывать пригласительный билет. Но когда Катерина сказала, что в Кремль с нею, наверное, разрешат пойти Зое, та сделалась пунцовой от растерянности и от ликования и, заикаясь, переспросила, в котором часу назначен сбор. Потом, не доев обеда, унеслась, как скороговоркой объяснила, чтобы «занять платьица».

В Кремль надо было прибыть к трем часам пополудни, поэтому на другой день Лавровой и Зое разрешили работать до обеденного перерыва.

Но еще до наступления этого часа Катерина успела приметить: Зоя с заговорщицким видом принялась шептаться со Степанидой и с пожилой клепальщицей. Все трое при этом поглядывали на Катерину.

Когда же время вплотную подошло к обеду, Степанида сунула Катерине ключ от своей квартиры — она жила рядом с заводом — и властно сказала:

— Ступайте, переоденьтесь там...— Она запнулась, лицо у нее вдруг сделалось сердитым.— Ты, Катя, шкаф открой, там платье сготовлено. Надевай.

— Кто же сготовил? — не сразу спросила удивленная Катерина.— Твое, наверно.

— Не мое, а твое. Зоя, ты гляди, чтобы надела.— Широкое лицо Степаниды из сердитого сделалось просто зверским: это означало, что она растрогалась, но скрывает свое смятение.— Муженек тебе купил.

Катерина ничего не сумела ответить, только часто задышала.

— Что, думаешь, одна ты на свете, а? — сварливо заворчала Степанида, все старательнее, все яростнее скрывая размягчение чувств.— Вон и наши в цехе волнуются: в чем пойдет, как пойдет, да не сбилась бы, если заговорит... А к чему бы им волноваться? У них-то у самих ничего не прибавилось,— значит, за тебя рады, ты это понимай. Косу тебе велят венцом уложить, слышишь?

— Слышу.

Катерина взглянула на подругу жалостными, подозрительно заблестевшими глазами.

— Пора тебе понять, Катя,— басовито сказала Степанида.— Ни в горе, ни в радости ты не одна. Хватит одной-то в норе сидеть.

— Я и там не одна,— тихо, чтобы не расслышала Зоя, возразила Катерина.

— Скажешь тоже... Там жизнь хоронят,— пронзительно шепнула Степанида и для убедительности легонь-

ко потрясла своими сильнущими, прямо-таки мужицкими кулачищами.

В Степанидиной комнате Зоя, сбросив пальто, сразу же распахнула дверцы шкафа, и обе они, Катерина и Зоя, увидели новое шелковое платье в блеклых некрупных цветах.

Зоя вынула его и, не снимая с плечиков, бережно разложила на диване.

— Теперь причесываться,— скомандовала она, упиваясь своей в некотором роде начальственной ролью.

Катерина отвела смятенный взгляд от цветастого платья и послушно распустила косу. «Когда же Вася успел? — думала она, скрыв лицо душистой волной волос: — Позаботился... поди, сколько перебрал! Уж очень броское... Как надену?»

Но ей и рассуждать особенно не пришлось: в комнате, привлеченная шумом, появилась Степанидина соседка, молодая, но довольно уже грузная женщина в халате. Услышав, кто они и в чем тут дело, она с ходу принялась помогать.

Толстую Катеринину косу ловко уложила вокруг головы, а когда Катерина довольно-таки нерешительно натянула на себя новое платье, соседка с непостижимой быстротою переставила на поясе какие-то крючочки и пуговки, после чего, склонив голову к массивному плечу, безапелляционно заявила, что платье «ужасно» к лицу Катерине. Потом она сходила в свою комнату и принесла коробочку с пудрой и тюбик губной помады.

Катерина шарахнулась от всего этого, как от огня: ни пудриться, ни красить губы ей еще в жизни не приходилось.

— Ну что же, вот и разговелась бы ради такого слу-

чая,— со смехом сказала соседка, и Катерина окончательно смутилась.

— Спасибо, не требуется,— пробормотала она и заторопилась к выходу.

До Кремля предстояла неблизкая дорога, надо было сделать две пересадки, но это уже была Зоина забота, и Катерина наконец-то могла погрузиться в сосредоточенное молчание.

Наступил торжественный и важный час жизни, вначале так ее устрашивший! Скоро она возьмет в руки с в о й орден, и как же это удивительно и непонятно: орден нашел ее, обыкновеннейшую женщину, среди миллионов людей огромной страны! Ошибка это или... Но ведь Пахомов сказал: «Имей в виду, Катерина Степановна, завод особо уважает клепальщиц».

Нет, теперь она не хотела, чтобы это было ошибкой.

Но если б могла она вместе с темным платьем снять с себя страх перед судьей всевидящим и робость перед земными, простыми радостями, которым еще боялась отдаться безраздельно! И страх, и робость, словно тяжелая ноша, давят ее, горбатят, сгибают широкие ее плечи. Освободится ли она, отбросит ли могильную плиту или и дальше надвое будет жить — по-одному на заводе, по-другому в молитвенном доме? Лгать там или лгать здесь — выбирай...

— Нигде,— с досадой и болью вырвалось у нее: не умела, не могла она лгать.

Зоя удивленно взглянула на нее, и тогда она насильно улыбнулась:

— Это я так.

— Нам выходить,— вдруг встрепенулась Зоя и для верности взяла ее за руку.

Почти у самых Боровицких белых ворот навстречу им, невесть откуда вывернулся Василий, приодетый в праздничный костюм, немного сконфуженный.

— Вася! — вскрикнула Катерина, порывисто шагнув к нему.— Чего-то боюсь я...

— Ну вот... выдумала тоже,— нетерпеливо сказал он и вдруг улыбнулся, разглядев в распахнувшихся полах пальто светлое цветастое платье.

Катерина смутилась, но все-таки нашла в себе силы спросить, как же он оказался у Кремля.

Василий путанно принялся объяснять, что приехал со сменщиком, ихняя машина пошла сегодня в Москву за оборудованием и в обратный путь тронется не скоро. Сменщик будет ждать на Театральной площади, чтобы отвезти домой, в поселок, всю компанию, вместе с Зоей и Степанидой Кузьминичной.

— Кузьминичной? — чуть насмешливо подхватила Катерина.— Быстро вы с Паней-то столковались!

— А как же,—Василий заулыбался и даже рукой взмахнул.— Мы с ней чуть ли не весь вчерашний день по магазинам лётом летали. Сильна ваша Паня!

Спохватившись, что все еще не объяснил, для чего он собрался везти Степаниду и Зою к ним в поселок, Василий добавил:

— Отметить надо, Катя... Обмыть, как говорится, орден. Я для того вас и ждал, надо же сказать, куда вам из Кремля идти. А теперь ступайте,— он кивнул на ворота.— Я куплю еще кое-что. Степанида знаешь как наказывала: «Ты не вздумай, говорит, красненьким меня ублажать, я, говорит, белое уважаю. Выпить да песню заиграть — разлюбезное дело». Ну пусть пошумит, Катя. Ты уж не препятствуй.

— Пусть пошумит. Только сам-то не вздумай раньше сроку шуметь, смотри не опоздай на Театральную.

Она насмешничала от смущения: глаза ее будто помощи или участия у него просили. Василию от этого стало не по себе, и он торопливо заверил, что сбегает в магазин, а потом прямо двинет на Театральную.

Тут Зоя прервала разговор, напомнив, что надо идти. В нетерпенье она слегка даже подтолкнула Катерину. Вдвоем они миновали Боровицкие ворота, затем, подгоняемые весенним ветерком, стали подыматься на брусчатую горбину Кремлевской площади.

Каждый шаг приближал их к Большому Кремлевскому дворцу, над круглым куполом которого беспокойно и резко плескался флаг.

XVI

Метания Катерины не прошли даром: уши у нее напрочь «заслонило», как только закрылись за спиной высокие зеркально блеснувшие двери дворца.

Зое, как настоящему поводырю, пришлось провести ее в гардеробную и заботливо раздеть. Потом она разделась сама и тщательно оправила «призанятое» платьице.

Обе рука об руку медленно прошли мимо зеркала в рост человека, и тут Катерина увидела себя всю, в новом ловко сшитом красивом платье, в новых, немного грубоватых против наряда, туфлях и с темным «венцом» прически — увидела и до того не узнала себя, что даже приостановилась.

Потом они долго подымались, словно плыли, по лестнице, застланной ворсистым бордовым ковром, наверное, заглушавшим шаги — Катерина видела все, но не слышала, как в немом кино. Наверху их дожидалась женщина. Она что-то сказала Катерине, затем, поняв, что тут нужна помощь, обратилась к Зое.

— Скажи своей маме, вручение наград состоится двумя часами позже... Можете пока осмотреть Кремль.

Зоя поблагодарила, вспыхнув до корней волос, и повела Катерину в большой овальный зал, украшенный картинами в золоченых рамах, с мягкими диванами у стен.

Они уселись рядышком, Зоя погладила Катерине руку и жалобно взмолилась:

— Тетя Катенька, успокойтесь, нам еще два часа ждать, ну, успокойтесь, пожалуйста!

— Два часа? — спросила Катерина.

— Вы слышите? — вскрикнула Зоя и, не выпуская руки Катерины, оживленно затараторила: — Она сказала, можно Кремль осмотреть, это значит, как цари жили. А вы знаете, как она вас назвала? Говорит: скажи...

Зоя остановилась, будто наскочив на препятствие.

— Ну? — ласково понудила ее Катерина.

— Скажи своей маме...— прошептала Зоя и опустила пушистую голову, боясь, верно, взглянуть на Катерину.— Это сама она, я ничего...

— Хорошо сказала,— медленно произнесла Катерина.— Эх, Зоюшка...

— Я ничего,— робко повторила девушка.

— Сядь-ка. Ну вот и славно!

Она заставила Зою придвинуться поближе и успела приметить, как ученица ее торопливо удернула под ди-

ван маленькие ножонки в новых, но очень уж больших туфлях.

— Обувка у нас с тобой,— дружески усмехнулась Катерина.— Не под такой паркет.

— Мне всегда на два номера велики попадают,— доверительно призналась Зоя.— Вот из первой получки куплю свой номер... тридцать четыре.

— Купим. Я Васе скажу. Он тебя уважает, все спрашивает.

— Как хорошо,— шепнула Зоя.— У меня сегодня такой день, будто я сама орден получаю.

Они помолчали, глядя на женщин, входивших вереницей,— праздничных, принаряженных, в туфлях с каблуками-гвоздиками, и совсем простеньких, загорелых, наверное от работы на воздухе... И тут Катерина спохватилась:

— Ты, Зоя, может, Кремль хочешь поглядеть?

— А можно?

Катерина наказала ей далеко не отбегать, не заглядываться,— ну как потом не пустят ее в самый главный зал! Сама же обещалась не сходить с этого места: ничто больше не могло в нее вместиться, так она поглощена была ожиданием и трудными раздумьями.

Ей думалось сразу о многом, и, поддаваясь нестройному потоку мыслей, она как-то непристально, пожалуй, даже рассеянно приглядывалась к женщинам, неторопливо двигавшимся по залу. Среди них было довольно много пожилых и даже старых. Эти-то уж наверняка прошли сквозь темное горе войны и, может, оплакивали свои невозвратимые потери. На плечах у них, значит, тоже лежало бремя трудно прожитой жизни. Нелегкое бремя... Но все равно не такое, как у нее, Катерины...

Тут мысли ее перекинулись к Василию. Он тоже из войны к ней пришел.

«Совсем замордовала я мужика»,— подумалось ей с такой жестокой ясностью, что даже сердце заколотилось: словно в каком-то мгновенном озарении сразу прошла перед ней вся их жизнь, от первых встреч и до последней, совсем недавней.

Каким оробелым, смятенным, не смеющим поддаться радости появился он перед ней у Боровицких ворот, как боязливо смотрел на нее, когда толковал о Степаниде, будто бы навязавшей ему заботы о собственной жене в день великого ее праздника. Вот ведь до чего дошло!

Катерина слабо улыбнулась, вздохнула и тихонько прошептала:

— Вася! Я перед тобой в ответе... За четырнадцать лет должна!

И тут мысли ее прервались — Зоя подлетела к ней, почти испуганно возвещая, что им пора идти. Девчушка в нетерпенье опять ее за руку схватила и так и не выпустила, пока они не вошли в поток женщин, устремившихся в Георгиевский зал.

Этот зал так поразил Катерину, что она, войдя, не могла сразу двинуться дальше, а постояла, привыкая. Очень здесь было бело — белые колонны, белые стены и на них белые с золотыми надписями мраморные доски. Свет огромных люстр во все стороны разбрасывал ослепительные сияющие блики... И как высоко! А посреди огромного этого зала темнели ряды обычных и каких-то здесь даже немного обидных венских стульев.

Катерина нацелилась было на самый последний ряд, но Зоя, цепко державшая ее за руку, остановилась возле мраморной доски и принялась шевелить губами.

— Чего там написано? — спросила Катерина.

— Это всё герои, солдаты и командиры, тетя Катенька. Награжденные... ух как давно... 1877 год! Георгиевский крест получили за бои... Смотрите, тетя Катенька... — голос у Зои вдруг зазвенел,— тут фамилия Лавров есть.

— Имя-то какое? — с непонятным волнением спросила Катерина.

— Лавров... Григорий... Саввич... есаул 126-го Тенгинского казачьего полка.

— Как Гриша мой,— сраженно прошептала Катерина.— Только отчество другое... казак. Вон когда еще геройствовали!

Она опять обвела взглядом белый сияющий зал русской славы. Ах, если б поднять все эти полки, и чтобы знамена над ними шелестели... Вот оно какое, земное бессмертие, вот она, земная, скрепленная горячей кровью слава!

Словно маленькую песчинку, океанской волною жизни вынесенную к этим мраморным стенам, прибило сюда Катерину Лаврову, чтобы встретилась она с другим Григорием Лавровым, русским воином, что жил давным-давно и умер со славой.

Но разве не погиб на поле боя муж Катерины, отец ее единственного ребенка, Григорий Лавров? И разве сама она здесь случайный, непозванный гость?

Нет, она сюда по праву пришла и по праву примет орден — не только за себя, но, может, и за Григория, не успевшего получить свои ордена.

Зоя нетерпеливо тронула ее за руку — женщины уже рассаживались по стульям, а на столе президиума появились аккуратные стопки коробочек, синих и крас-

ных. Зоя даже губы закусила, когда догадалась, что это и есть ордена.

Им пришлось усесться в один из последних рядов, впереди не осталось ни одного свободного места.

— Смотрите, смотрите, тетя Катенька,— то и дело шептала Зоя, непоседливо суетясь на своем стуле.

Мимо них с шипением протащились по полу какие-то резиновые длинные шланги, или, скорее, провода. Зоя, увидев глазастые, пока еще не зажженные лампы-юпитеры и кинокамеру, восторженно зашептала:

— Вас в кино снимут!..

Увлеченная необычным зрелищем, она и не заметила, как поежилась при этих словах Катерина, тревожно подумавшая, что ей и вспомнить невозможно, когда смотрела она в последний раз кино, а тут вдруг ее самое людям покажут.

Но тревога была мгновенной — в зале послышались дружные аплодисменты, точно целая птичья стая взлетела над головами.

— Буденный! Буденный! — заговорили кругом, и Зоя, захлебываясь от восторга, тоже зашептала: — Буденный, тетя Катенька!

И тут началось, и все оказалось очень просто... Только лампы то и дело вспыхивали белым светом, и Катерина закрывала глаза, сквозь легкий шум зала слушая негромкий, спокойный голос маршала. И стук своего сердца слушая, сильный и немного неровный.

К столу вышли, одна за другою, молоденькая, немножко лукавая и нисколько не сконфузившаяся артистка кино, за нею солидная, неторопливая женщина в очках и строгом костюме — она оказалась хирургом пригородной больницы,— потом вызвали женщину, о кото-

рой сказали, что она строитель, маляр. К столу вышла молодая коренастая женщина в цветном платье, с крупными, похожими на спелые вишни, бусами.

— Спасибо,— просто сказала она Буденному и повернулась к залу, сжимая коробочку с орденом в крепкой смуглой руке.— Я, конечно, волнуюсь очень, но хочу сказать спасибо нашему советскому правительству за такое великое внимание к простой женщине. Я, конечно, хочу еще больше украсить Москву, как я приехала сюда, на стройку, больше десяти лет тому назад...

«Молодец, как вычитала!» — подумала Катерина, с удивлением глядя на женщину, уже шагавшую к проходу. И вдруг услышала отчетливые, как ей показалось, громовые слова:

— Лаврова Екатерина Степановна, клепальщица машиностроительного завода. Награждена орденом «Знак Почета».

Зоя вскочила с места, освобождая дорогу Катерине, и та, не чуя своих ног, пошла, как и все до нее, под аплодисменты, к столу президиума.

Буденный подал ей красную коробочку и орденскую книжку.

— Желаю вам успеха, товарищ Лаврова,— сказал он, пожимая руку.

«Спасибо! Спасибо!» — стучало у нее в голове, но она не могла выдавить из себя ни звука и только глядела на маршала большими глазами, в которых была растерянность и мука. Буденный тронул пальцами пушистые седеющие усы, улыбнулся и сказал очень тихо, только для нее одной:

— Ну, будь здорова, трудись. Счастлива будь.

— Спасибо вам,— неожиданно отозвалась Катерина.

Маршал опять протянул ей руку, и в зале захлопали.

— Чего это вы там шептались? — спросила Зоя, когда Катерина вернулась на место.

— Секрет! — услышала она в ответ.

Катерина хотела пошутить, но к горлу подкатился горячий ком и она едва удержала слезы. Трудно давалась ей даже такая светлая радость...

Ни о чем этом, конечно, не знала и не догадывалась репортерша из радиоцентра, которой поручено было собрать после церемонии в Георгиевском зале коротенькие интервью с награжденными.

Девушка неопределенного возраста, одетая по моде, то есть в мешкообразное платьице детской длины и туфли на преувеличенно высоких каблуках, от которых ступня вставала почти вертикально, репортерша с усилием таскала за собою длинные, всем мешавшие провода и то и дело подсовывала микрофон героиням нынешнего дня. И пока героиня, захваченная врасплох, старательно произносила в микрофон несколько фраз, репортерша уже рыскала густо подведенными глазами по сторонам и выискивала новую кандидатку.

Так она набрела на Катерину. Должно быть, ее привлекло красивое, большеглазое, в темном ореоле волос, необычайно взволнованное лицо награжденной.

Зоркий, опытный взгляд мгновенно вобрал в себя все, что требовалось для интервью. На груди у женщины поблескивал новенький орден «Знак Почета» («ну что же, в газетах заметно подымают сейчас значение этого ордена...»), работала женщина на крупнейшем машиностроительном заводе клепальщицей («вот это уже класс!»). И репортерша, решительно подтащив провода,

подошла к Катерине с микрофоном и громко, с привычным оживлением, спросила:

— Что вы, Катерина Степановна, хотели бы сказать нашим радиослушателям? Ваши пожелания?

Лаврова озадаченно и даже, кажется, с испугом глянула на провода, на репортершу, на микрофон.

— Спасибо хочу сказать,— после большой паузы с усилием произнесла она.— Большое спасибо... и...

— Очень хорошо,— громко перебила ее репортерша, неясно почуявшая опасность.

И уже просто для себя, опустив микрофон, с любопытством спросила у растревоженной женщины:

— Ну как, Екатерина Степановна, приятно?

По румяному лицу Лавровой прошла смятенная, горькая тень.

— Очень тяжело! — неожиданно сказала она (хорошо, что не в микрофон!).— Очень тяжело... ото всей моей жизни.

1961—1963

Чертова
Надежда Васильевна

САРГАССОВО МОРЕ

М., «Советский писатель»,
1965, 152 стр.
Тем. план вып. 1965 г. № 257.

Редактор **Г. А. Блистанова**
Художник **В. Н. Ходоровский**
Худож. редактор **В. В. Медведев**
Техн. редактор **Н. Д. Бессонова**
Корректор **Г. Г. Папандопуло**

Сдано в набор 6/XI 1964 г.
Подписано к печати 27/II 1965 г.
А 02723. Бумага $70 \times 108^1/_{32}$.
Печ. л. $4^3/_4$ (6,65). Уч.-изд. л. 6,23.
Тираж 75 000 экз. Заказ № 165
Цена 25 коп.

Издательство «Советский писатель»
Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10

Тульская типография Главполиграфпрома
Государственного комитета
Совета Министров СССР по печати
г. Тула, проспект им. Ленина, 109.